

ИВАН ВАСИЛЕНКО

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАМОРЫША



Иван Дмитриевич Василенко

Жизнь и приключения

Заморыша

текст предоставлен издательством "Эксмо"

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3028145

Иван Дмитриевич Василенко. Жизнь и приключения Заморыша: Эксмо;

Москва; 2012

ISBN 978-5-699-53652-8

Аннотация

В этой книге издаются повести, объединенные одним героем – Митей Мимоходенко – и общим названием «Жизнь и приключения Заморыша».

Митя был свидетелем и участником интереснейших событий, происходивших на юге России в начале XX века. Столкнувшись с рабочими, с революционным движением, Митя Мимоходенко перестает быть Заморышем: он становится активным борцом за народное счастье, из мальчика «на побегушках» в базарном трактире вырастает в активного революционера.

Содержание

Повесть первая. Общество трезвости	7
Не треба	8
В город!	19
Первые дни	29
Отец танцует	37
Горим	48
Попечители	57
Наши посетители	65
Исчезновение Никиты	81
Зойка	86
«Петр Великий»	93
Дэзи	101
«Каштанка»	105
Опять у Зойки	109
Красный флаг	116
«Ряженный»	127
Цирк	136
Новые шубы	143
Болезнь	147
«Из искры возгорится пламя»	152
Бегство	157
На турецком пароходе	165
Край света	178



**Иван Дмитриевич
Василенко
Жизнь и приключения
Заморыша**



**Повесть первая.
Общество трезвости**



Не треба



Когда я родился, то принялся громко кричать. Меня спеленали и положили около матери. Я еще немного покричал и затих. И так долго молчал, что мать встревожилась. Она потрогала меня и с недоумением увидела, что рука ее стала красной. Думая, что ей это показалось, она потрогала меня другой рукой. Но и другая рука покраснела. Стало ясно, что я истекаю кровью. Очевидно, бабка слабо перевязала пупок. Отец всполошился. Он был уверен, что если я умру некрещеным, то на том свете попаду прямо к черту в лапы. Поэтому он стал у моего изголовья и прочитал «Отче наш». Но,

конечно, это было не настоящее крещение. Настоящее – это когда крестит священник. Волостной сторож дед Тихон бегал по улицам (дело происходило в большой деревне Матвеевке, где отец служил волостным писарем) и искал священников. В деревне их было трое. Но все они в этот зимний морозный день ходили по хатам, кропили святой водой стены и пели «Во Иордане крещающуюся». Наконец их удалось сыскать, и они стали, каждый со своим причтом, прибывать в наш дом. Что это было за сборище! Три священника, три дьякона, три псаломщика да еще певчих с дюжину, тогда как для крещения младенца было достаточно одного батюшки и одного псаломщика. Чтоб не возникло раздора среди духовных особ, отец предложил им крестить меня сообща. И вот я, таким образом, оказался крещенным тремя попами, что, кажется, удавалось не каждому даже наследному принцу.

Во время молитв и священных песнопений я молчал как рыба, но когда бородатый и брюхатый отец Иоанн окунул меня в воду, я слабо пискнул.

– Э-э, – сказал матери дед Тихон, – да он, Акимовна, еще кормильцем вашим будет!

Обо всем этом мне не раз потом рассказывала мать, и слова деда Тихона меня почему-то трогали до слез. Они часто помогали мне вернуться на правильный путь в моей жизни, полной приключений.

Своего тепла мне не хватало, поэтому я долго лежал на печи в деревянной шкатулке. Лежал большею частью молча,

будто обдумывал, стоит ли мне, такому хилому, пускаться в дальнейшее плавание: жизнь-то ведь не шутка, не дашь сдачи – так тебе и на голову сядут. Изредка я попискивал, и тогда все переглядывались: жив еще!

Все-таки из шкатулки я вылез и зажил на общих основаниях. Постепенно я стал разбираться в родственных отношениях и окружающей обстановке. Самое теплое, мягкое и приятное существо на свете – это моя мама. Бородатый мужчина, из которого время от времени шел дым, был мой отец. Драчливый мальчишка, значительно крупнее меня, – мой брат Витька. А патлатая девчонка, таскавшая меня на руках попеременно с мамой и тайно от нее шлепавшая меня, – моя сестра Машка.



Подрастая, я узнавал и многое другое, например то, что мы живем в деревне, а деревня – такое место, где живут мужики. Мужики – это люди, которые сеют пшеницу и жито. Пшеницу, когда ее обмолотят, они отвозят в мешках в город и там сдают на хлебную ссыпку греку-живодеру Мелиареси, а сами едят хлеб житный.

Кроме нас и мужиков, в деревне еще жили пан Шаблинский, доктор, батюшка с дьяконами и псаломщиками, фельд-

шер, урядник и учитель. Они хлеб ели пшеничный, махорку не курили, мужикам говорили «ты» и землю не пахали. Но между собой тоже различались. Доктор и батюшка были в одной компании, учитель и фельдшер – в другой, а к нам в гости ходил только псаломщик.

Важнее всех был пан Шаблинский, поэтому и дом его стоял не на улице и даже не на площади, как, например, дом батюшки, а на горке, в стороне. От пана, точнее – от пани, и пошли перемены в нашей жизни.

Однажды Маша, в голове у которой, как я еще тогда подзревал, гулял ветер, вздумала повести меня и Витьку к панам в гости. Целый день она стирала наши рубашки и штанишки, до блеска начищала пахучей ваксой дырявые башмаки, а под конец умыла нас яичным мылом, взяла за руки и повела на горку. По дороге она рассказывала, что стулья у пана хрустальные, стол серебряный, а ножи золотые. Этими ножами пан, пани и паненок режут толстое вкусное сало и едят сколько захочется. У нас с Витькой потекли слюнки.

– Маша, а нам они дадут сала? – спросил Витя.

– А как же! И сала, и пряников, и орехов, – сказала моя умная сестрица.

Чугунные ворота были раскрыты, и мы по усыпанной гравием аллее пошли к большому белому дому с колоннами. Около дома стояла худая, бледная барыня в голубой накидке и держала в костлявой руке палочку с очками на кончике. Перед барыней вертелся лысый, с розовыми щеками мужчи-

на. Он что-то ей говорил, а что, мы не знали: все слова были непонятные.

– Здравствуйте! – сказала Маша и протянула барыне руку.

Барыня поднесла к глазам очки на палочке и осмотрела через них сначала Машину руку, а потом нас с Витей.

– Николя, – сказала она мужчине, – что это такое?

Мужчина тоже осмотрел нас, поморгал и ответил:

– Я полагаю, Надін, это дети.

– Да, но чьи дети? – строго спросила она.

Мужчина опять осмотрел нас, потянул носом и пожал плечами.

– Вот этого я, Надін, сказать не могу. От них чем-то пахнет. Кажется, гуталином. Да, да! Гуталином, я теперь это ясно чувствую... Или ваксой.

– Ах, да я вас не спрашиваю, чем от них пахнет! Я спрашиваю, заче-ем они здесь!

– Мы пришли играть с вашим панычем, – объяснила Маша. – В горелки. Он умеет в горелки?

Барыня выпучила глаза.

– Николя, вы что-нибудь понимаете?

Мужчина поморгал, подумал и опять пожал плечами:

– Как вам сказать, Надін? Не очень.

– Це писаревы диты, – сказал бородатый мужик в фартуке и с лопатой в руке.

– Писаревы дети?! Пришли играть с Кокб?! Николя, я еще раз спрашиваю вас: что происходит вокруг нас?

Маша, которая все время смотрела на барыню с раскрытым ртом, тут сказала:

– Тетя, у вас глаза вылазят.

– Что-о? – протянула барыня. И вдруг затряслась, упала головой на плечо лысого и застонала: – Николая, гоните!.. Умираю!.. Гоните!..

– Гони!.. – крикнул мужику лысый.

– Тикайте швыдче! – шепнул нам мужик.

Маша схватила нас за руки, и мы что было духу бросились бежать.

Когда дома узнали, как нас угостили у панов, отец заволновался:

– Ну, беда! Выгонят! Пожалуются в городе становому, и меня в два счета выгонят. Надо извиниться.

И он стал писать барыне письма. Напишет, прочтет, скомкает бумагу – и опять за перо. А дверь скрипнет – он весь сожмется.

Но становой не появлялся, и вообще все шло по-старому. Отец расхрабрился, порвал все письма и презрительно хмыкнул:

– Черта пухлого я стану извиняться перед барами!

Одно письмо все-таки уцелело, и я много лет спустя нашел его в бумагах отца. Вот оно:

Ваше Превосходительство!

Имею честь покорнейше просить Вас, проявите великодушие и простите моих неразумных

детей за дерзкое поведение. Обязуюсь, Ваше Превосходительство, впредь воспитывать их в сознании своего положения и в глубоком уважении к Вашему Высокопревосходительству и всему Вашему семейству.

К сему

волостной писарь Степан Мимоходенко.

Решив, что ему и черт не брат, отец перешел в наступление и принялся ругать панов в самом волостном правлении в присутствии старшины, богатого мужика Чернопузенко. Да заодно и о царе выразился неуважительно. Дня три спустя Чернопузенко привел в правление плюгавого человека и показал ему пальцем на отцов стул, а отцу сказал:

– Не треба.

– Чего не треба? – спросил отец.

– Не треба нам таких. Съезжай с квартиры.

В тот же день отец снял во дворе попа Ксенофонта старый флигелек в одну комнату с кладовкой, и мы на руках стали переносить туда наше имущество из казенной квартиры при волостном правлении.

– Черт с ними! – сказал отец. – Проживем и без мироедов. Хватит штаны протирать в канцеляриях. Буду свиней разводить. Есть свиньи, которые приносят по шестнадцати поросят. Верное дело!

Он куда-то съездил и вернулся со свиньей – такой огромной, что смотреть на нее приходили даже из соседних деревень.

– Купил за бесценнок! – хвастался отец, заплативший за свинью все, что было припасено про черный день. – А кормить будем тем, что останется от обеда.

Но скоро выяснилось, что от обеда не остается ничего, так как и обеда, в сущности, не было. Маша, Витя и я ходили по улицам и собирали колосья, упавшие с крестьянских арб. Зерно, добытое таким образом, и служило нам обедом то в виде кутьи, то в виде супа или лепешек. Если б не корова Ганнуся, подкармливавшая нас парным молочком, то хоть волком вой. Маша к тому времени прошла в школе Ветхий завет и теперь говорила: «Что ж, Руфь тоже собирала колосья, а в нее какой-то богач влюбился. Может, и в меня кто-нибудь влюбится». Но ни в Машу, ни в нас с Витькой никто не влюблялся. Зато поп Ксенофонт, завидя нас на дороге, где копошились в пыли его куры и клевали оброненные колосья, кричал дребезжащим от старости голосом из окошка своего дома: «Нищие! Голодранцы! Уйдите сейчас же с дороги, паршивцы!»

Как и предвидел отец, чудо-свинья принесла ровно шестнадцать поросят. Но оттого ли, что от наших обедов почти ничего ей не оставалось, или по какой другой причине, она издохла. Вслед за ней издохли и все шестнадцать поросят.

А тут еще Ксенофонт, заметя, что в нашей борьбе с курами за оброненные колосья мы явно берем верх, вызвал к себе отца и сказал:

– Мне куры дороже вашей квартирной платы.

– Что ж, – ответил отец, – я могу и прибавить.

Ничего прибавить он не мог, так как уже несколько дней мучился, раздумывая, откуда взять деньги для очередной квартирной платы.

– Не треба, – решительно отклонил поп. – Вы и без того задержали плату за целых десять дней. Очищайте флигель.

– Батюшка, в молитве господней говорится: «И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим», – напомнил отец.

Ксенофонт поморщился:

– Толкование невежественное и своекорыстное! «Долги» сказано в смысле прегрешений. А к данному случаю больше подходит: «Воздайте кесареви – кесарево, а божие – богами».

– Эх, батюшка, – не сдавался отец, – вспомните Юдифь: она тоже собирала колосья, однако ж царь Давид не осудил ее за это и даже женился на ней.

– Невежество! – скривил Ксенофонт рот. – Это была не Юдифь, а Руфь, и женился на ней не царь Давид, а Вооз, царю ж Давиду она приходилась бабкой. Невежество!

– Ну, бабкой так бабкой, а колосья все-таки собирала, – стоял на своем отец.

Поп показал на дверь:

– Изыди!

Придя домой, отец сказал:

– Черт с ним, с попом и его курами! Переедем в город. Дети подрастают, их учить надо. Мне в городе уже кое-что

предложили. Вот съезжу и окончательно договорюсь. Верное дело!

В город!

При одной мысли, что мы переезжаем в город, у меня в груди сладко щекотало. За восемь лет своей жизни я в городе ни разу не был, но сколько чудесного о нем наслушался! Например, Маша рассказывала, что там идешь-идешь по улице, глянул, а прямо под ногами у тебя часы серебряные лежат. Положил часы в карман, пошел дальше – что-то под деревом блестит. Нагнулся – брошь золотая. Может, Машка и врала, но разве не из города отец привозил перед рождеством и пасхой головку голландского сыра и копченую колбасу с перчиком! Разве не из города привозили золотистые пахучие франзольки¹, когда я болел и фельдшер запрещал давать мне обыкновенный пшеничный хлеб! Разве не в городе купил отец мне и Вите красного и блестящего, как огонь, сатина на рубашки!

Город! Да там каждый день крутятся под шарманку карусели с лошадами и каретами, те самые, разодетые в шелк, бархат и серебряную бахрому карусели, которые приезжают к нам в деревню только раз в году, в престольный праздник. Даже паны приводили своего паныча покататься на них. А мы каждый день будем в городе кататься! Вот! Пусть пани, которая прогнала нас, теперь лопнет от зависти.

Как он выглядит, город, я не знал и представлял его в сво-

¹ Франзоль – маленькая белая булочка.

ем воображении, как мог. Против волостного правления, где мы раньше жили, протянулась коновязь – длинное бревно на вбитых в землю кольях. Однажды я сел на нее, обхватил ногами бревно, а головой опрокинулся вниз. И мир в моих глазах стал другим: деревья, избы, колокольня с золоченым крестом – все показалось праздничным, все купалось в голубом небе. И я от радости закричал: «Ой-ой-ой!.. Как в городе!..»

Кочевать из деревни в деревню было для нашей семьи делом привычным, но переехать на постоянное жительство в город – не так просто. К тому же на переезд нужны были деньги.

– Придется продать корову, – сказал отец.

Мама всплеснула руками:

– Продать Ганнусю! Кормилицу нашу!..

Ганнусей мы все гордились: она слыла первой красавицей в стаде. Даже голос ее, каким она требовала открыть ей ворота, когда возвращалась с пастбища, был самым приятным из всех коровьих голосов.

Отец вздохнул и отправился искать покупателя. Вскоре он вернулся с коротконогим толстым мужиком, еще более богатым, чем старшина Чернопузенко. В руке мужика была веревка, которую он и принялся без разговоров накручивать на рога коровы.

– Прощай, Ганнуся! – сказала мама, поцеловала корову в белое пятнышко на лбу и вытерла свои повлажневшие глаза

концом головного платка.

– Прощай, Ганнуся! – собезьянничала Маша. Дотянуться до пятнышка она не смогла и чмокнула корову в ее черный нос.

Мы с Витей заморгали глазами.

Мужик намотал конец веревки на руку и повел нашу корову со двора. Пошла она покорно, но в воротах повернула к нам голову и жалобно замычала.

– Иди, иди с богом! – сказал ей отец.

Наутро во двор въехали две арбы. Мы вытащили из флигеля деревянные табуретки, полуразвалившийся комод, корыто, разохшиеся бочки. Все это уложили на арбы и увязали веревками. Потом и сами уселись сверху. В это время на своем балконе появился Ксенофонт.

– На, выкуси, – сказал отец и с высоты арбы показал ему кукиш.

Ксенофонт издали не сразу рассмотрел, что это ему показывает бывший квартирант, а когда рассмотрел, то и сам сложил свои персты в такую же фигуру.

Так, напутствуемые поповским кукишем, мы выехали со двора. На передней арбе – отец с Витей, на задней – мама, Маша, я и работник мужика, который увел нашу Ганнусю, заплатанный Фома. День был воскресный, хозяева сидели на глиняных завалинках у своих хат, одни лузгали семечки, другие дымили махоркой, и все молча провожали глазами наши арбы.

Вот и последняя хата, убогая хибарка с выпирающими из-под гнилой соломы стропилами, с запыленным окошком и повалившимся плетнем, – хата вдовы Митрофановны.

А дальше, на горке, размахивает крыльями ветряная мельница. Ух, что за крылья! Когда одно опускается до земли, другое поднимается к самому небу. Ударит такое крыло по нашей арбе – и в щепки... А отцу хоть бы что! Правит прямо на мельницу.

Но вот и мельница позади. Я оглядываюсь на деревню, и глаза мои застилаются слезами: то ли мне Ганнусю жалко, то ли вдову Митрофановну, когда-то угостившую меня вареной кукурузой, то ли всех нас, прогнанных из родной деревни. Но тут я вспоминаю, что едем мы не куда-нибудь, а в город, где все как в сказке, и душа моя замирает в сладостном ожидании необыкновенного.

Лошади идут шагом, скрипят арбы, дребезжит подвязанная к задку пустая цибарка. А кругом, до тех манящих мест, где небо сходится с землей, ровно и пустынно. Если б не светло-желтые копны скошенной пшеницы, похожие на огромные соломенные шляпы, то хоть шаром покати. По голубому небу плывут белые, как вата, тучки. Наплывет такая тучка на солнце – и кругом все потускнеет. Но это только на минутку. Вдали на землю ляжет светлая позолота, она быстро пронесется нам навстречу, и опять все кругом засияет. Изредка повстречается арба, так высоко нагруженная скошенным хлебом, что лошадь кажется игрушечной, прошеле-

стит колосьями – и опять никого.

Сбоку дороги закопошился суслик, похожий на большую крысу. Он поднялся на задних лапках, а передние приложил к щекам, повертел во все стороны головой, точно кого-то выискивая в этой бесконечной степи, и свистнул.

– Ой, какой хорошенький! – завизжала Маша.

– Шоб вин здох! – сплюнул Фома. – Обжора! Ну и ел бы ти зерна, шо сыплются сами на землю. А вин подкусэ знызу, и колоски падают. Ось якый чертяка, цей ховражок!

Маша прикусила язык.

Засмотревшись на суслика, я не заметил, как отец слез с арбы и пошел с ней рядом. Когда я опять посмотрел на арбу, то увидел, что Витька сидит в ней один и держит в руках вожжи. На минутку он повернул ко мне голову, и я чуть не заплакал от обиды: с таким презрением глянул он на меня.

Фома еле заметно усмехнулся в свои длинные усы и протянул мне вожжи:

– А ну, хлопчик, поддержи, а я сигарку сверну.

И, пока он курил, я изо всех сил сжимал в руках черные замусоленные ремни. Но Витька больше не обернулся. Он так и не видел, что я тоже правил лошадью. И сколько я потом его ни уверял, как ни божился, даже землю ел в доказательство, он только презрительно кривил губы:

– Приснилось тебе...

И почему это старшие братья всегда дерут нос перед младшими? Подумаешь, заслуга какая – родиться немножко

раньше!

Когда мы изрядно отъехали от деревни, отец свернул с дороги, Фома – за ним, и обе арбы остановились среди побуревшей уже травы. Отец поставил на землю таган, подвесил котелок и вытащил из мешка зарезанную, но еще не ощипанную курицу, которую мама тут же и принялась скубти². Серенькая курица показалась мне знакомой.

Бурьяна вокруг нас было сколько угодно, и мы с Витей натаскали его к тагану целую гору. Бурьян под котелком затрещал, запахло дымом, и, хотя мы расположились среди голой степи, стало так уютно, как не бывало даже в поповском флигеле.

Скоро в котелке забулькало. К дыму примешался аппетитно пахнувший пар.

Котелок поставили на землю, мама дала каждому по деревянной расписной ложке. Усевшись кружком, мы принялись хлебать суп с пшеном и укропом. От супа тоже пахло дымом, но от этого он казался еще вкуснее. Когда суп был уже съеден, отец постучал по котелку, и каждый запустил свою ложку за курятиной. Кому досталась ножка, кому крылышко, а мне дужка.

– Хорошая курица была у попа, – сказал Фома, вытер ладонью усы и хитровато глянул на отца.

– Хорошая, – согласился отец и подмигнул Фоме.

Степной воздух, сытный обед и равномерное покачивание

² Скубти – ощипывать птицу.

в арбе так меня разморили, что я склонился к маме на колени и заснул. А проснулся оттого, что чей-то хриплый женский голос кричал:

– Проезжайте! Проезжайте скорей, будь вы прокляты!.. Не слышите, поезд идет!..

– Но!.. Но!.. Но-о!.. – кричал отец страшным голосом.

Я открыл глаза. Было уже темно, и в этой темноте громоздились какие-то строения, черные и огромные. Прямо перед нами стояла пестрая будка, а около будки размахивала красным фонарем растрепанная старая ведьма. Рядом с этой большой ведьмой стояла ведьма маленькая, с огненно-рыжей головой, и тоже кричала пронзительно тонким голосом:

– Проезжайте, цыгане черномазые! Под колеса захотели?

Отец изо всех сил стегал лошадь, но арба зацепилась за что-то колесом и дальше не двигалась, только судорожно подпрыгивала на месте.

– А, дураки малохольные!.. – выругалась старая ведьма. – Стойте ж теперь, пока не пройдет.

Маленькая ведьма подняла руку и потянула за веревку. Сверху опустился полосатый столб и загородил нам дорогу. Откуда-то из темноты доносился частый глухой стук, от которого под арбой тряслась земля. Потом показался огромный огненно-желтый глаз, будто само солнце скатилось с неба и поплыло над землей, что-то заорало мне в самые уши, и мимо нас со страшным стуком замелькали дома на колесах. Дома бежали и бежали, а отец и Фома, стоя на земле,

держали лошадей под уздцы и закрывали им рукавами глаза. И вдруг дома сразу пропали. Стук несся уже с другой стороны и делался все тише и глуше.

Я сидел, вцепившись в мамину ватную кофту. Полосатый столб медленно поднялся. Отец и Фома повели лошадей, и арбы, стуча железными шинами, подпрыгивая и качаясь, поехали мимо ведьм.

Младшая уставилась на меня и вдруг прыснула:

– Бабка, бабка, смотри, он язык от страха заглотал! Маленький сынок!.. Воробей желторотый!.. Мокрый цыпленок!..

И, пока наши арбы не завернули куда-то за угол, рыжая не переставала выкрикивать мне вслед самые обидные прозвища.

– Мама, а нас ведьма не догонит? – спросил я.

– Какая ведьма? – не поняла мама.

– А рыжая.

– Девчонка? И вправду ведьма. Нет, чего ж ей гнаться за нами!

– А зачем она меня дразнила?

– Ну, ты маленький, хиленький – вот она тебя и дразнила.

– А Витьку почему она не дразнила?

– Витька здоровый мальчик, он и сдачи мог дать.

Мне стало обидно, и я сказал:

– Вот подрасту и тоже ей сдачи дам.

– Ладно, – сказала мама, – подрастай. А в городе мы пой-

дем с тобой на базар, и я куплю тебе пряничек.

Колеса мягко катились посередине улицы. С той и другой стороны в тусклом свете редких керосиновых фонарейплыли нам навстречу трехоконные дома с закрытыми ставнями. Около домов шелестели акации. И, совсем как в деревне, на скамейках под окнами сидели парни и девки и громко пели. Только в деревне пели тягуче и жалобно про долю, которую никак не дозовешься, а тут весело и дробно про какие-то чики-рики!

Ой, гоп, чики-рики,
Шарманщики-рики,
Ростовские
Хулиганчики-рики!

– На ций недели оци чики-рики, хай им бис, вытяглы у мэнэ на базари кисет з табаком. И гроши б вытяглы, та грошей у мэнэ зроду не було, – сказал Фома.

Мама стала шарить у себя под ватником.

Колеса вдруг громко застучали: это мы въехали на улицу, мощенную камнем. В арбе все заходило ходуном, все вещи под нами расползались, и цибарка так дребезжала, что прохожие оглядывались и ругались.

Вскоре показался большой дом со светлыми окнами в два ряда. Из дома неслась музыка, будто там играли на шарманке. Обе наши арбы въехали во двор. Там уже стояло много подвод и распряженных лошадей. Лошади с хутора ели сено.

– Вот тут мы и переночуем, – сказал отец. – Фома, распрягай! А утром поедem на квартиру. Утро вечера мудренее.

В темноте мама и Маша принялись вытаскивать подушки и одеяла и готовить на арбах постели. Мы улеглись, укрылись, но уснуть сразу не смогли: слышно было звяканье посуды, гомон и чье-то тягучее пьяное пение:

Маруся, ах, Маруся,
Открой свои глаза,
А если не откроешь,
Умру с тобой и я...

У самых наших голов лошади жевали и жевали.

Я смотрел в небо и думал, что вот мы проехали много верст, а звезды над нами точно такие же, как и в деревне: значит, они тоже переехали с нами в город. Потом звезды начали меркнуть, а гомон стал уходить куда-то дальше. Теплая лошадиная голова приблизилась к самому моему лицу. «Чики-рики», – шепнула мне голова и поцеловала в глаза. И до утра я больше ничего не видел и не слышал.

А утром проснулся уже городским жителем.

Первые дни

«Верное дело» было в том, что отца назначили заведующим чайной. Ее еще только штукатурили и красили, но на постоялом дворе, где мы ночевали, отец уже важно сказал:

– Я являюсь заведующим чайной-читальней общества трезвости и, как таковой, прошу отпустить подведомственным мне лошадям два гарнца овса.

На время, пока чайную ремонтировали, отец снял для нас квартиру где-то около Старого базара. Туда мы и поехали с постоялого двора.

Мы ехали, грохоча колесами по каменной мостовой и дребезжа цибаркой, а навстречу с двух сторон тянулись такие огромные дома, что в сравнении с ними даже дом панов Шаблинских мне теперь казался чем-то вроде поповского флигеля. То и дело нашу арбу обгоняли черные блестящие экипажи, в которых сидели барыни в шляпах с цветами и господа в шляпах-котелках. Мужчина в красной рубахе толкал впереди себя бочонок на двух колесах и на всю улицу кричал: «Во-о-от са-а-ахарное моро-оженое!» А толстая тетка с розовым лицом, похожая на нашу деревенскую просвирню, тащила большую плетеную корзину и тоненько пела: «Бу-ублики, бу-ублики!»

Наши арбы поравнялись с домом, в котором вместо двери были широкие ворота. Над домом к небу поднималась баш-

ня. На ее вершушке ходил по кругу человек в золотой шапке. Я вспомнил, что говорила Маша о золотых брошках, и, хоть не очень ей поверил, на всякий случай стал смотреть на дорогу. Конечно, ни золотой брошки, ни серебряных часов так до самой квартиры и не увидел.

А в квартиру нашу вход был со двора, по ступенькам вниз, и из окошка видны были только человеческие ноги да собаки, которые пробегали мимо. Когда мы перетащили с арб в комнату наше имущество, то оказалось, что для нас самих места почти не осталось. Но отец сказал:

– Наплевать на кровать, спать на полу будем. Зато через две недели переедем в хоромы. – И отправился в чайную наблюдать за ремонтом.

Все две недели мы спали на разостланном войлоке. Там же, за низеньким круглым столиком, мы и обедали, поджигая под себя ноги. Однажды в комнату зашла квартирная хозяйка купчиха Погорельская. Когда она увидела нас с поджатыми ногами, то удивилась и сказала:

– Чи вы люди, чи турки?

На это отец важно ответил ей:

– Я уже неоднократно ставил вас в известность, что являюсь заведующим чайной-читальней общества трезвости. Что касается турок, то они тоже люди, но только в фесках.

Хотя я и не знал, что такое общество трезвости и что такое фески, но было ясно: отец дал купчихе отпор.

Впрочем, уже на следующий день я феску увидел соб-

ственными глазами. Мама пошла покупать хлеб и взяла меня с собой. Мы вошли в лавку. За прилавком стоял смуглый мужчина с черными глазами. На голове у него была круглая красная шапочка с кисточкой. Я подумал, что мужчина нарочно надел такую шапочку, чтоб побаловаться, и засмеялся. Но мама сказала, что это феска, которую носят все турки, а смеяться над чужими нарядами – грех.

Затем она спросила, свежий ли хлеб. Турок взял с полки круглую белую булку, положил на прилавок и придавил сверху ладонью. Булка вся опустилась. Он принял ладонь, и она опять поднялась.

– Хороший хлеб, – похвалила мама, беря булку. – О, да он еще теплый!

– Мама, чем это здесь так вкусно пахнет? – шепотом спросил я.

Но турок услышал, взял с блюда что-то розовое и протянул мне на ладони.

– Ах, нет-нет! – сказала мама. – У меня денег только на хлеб. Нам сейчас не до пирожных.

– Ничего, ничего, – кивнул турок головой, и на его феске закачалась кисточка. – Русски хороши, турка хороши, вся люди хороши.

Потом я узнал, что в городе таких пекарен много. И почти во всех пекарнях сидели турки.

За две недели, которые мы прожили в подвале купчихи Погорельской, я увидел в городе так много чудесного, что у

меня голова пошла кругом. Особенно ошеломила меня Петропавловская улица. В деревне у нас было всего две лавки. В каждой из них продавались самые разнообразные товары: и лошадиный хомут, и мятные пряники. А здесь на всей улице – сплошь магазины, и каждый магазин продавал свое: в одном окне выставлены блестящие лакированные туфли, в другом – золотые кольца и браслеты, в третьем – окорока, в четвертом – шляпы и шапки. Даже было такое окно, где на задних лапах стоял медведь и скалил зубы. Но я, конечно, не боялся, потому что медведь был неживой. Я даже показал ему язык.

И еще мне понравился базар. Чего только тут не было!

Однажды мама, Витя и я пошли покупать картошку. Ходим по базару от воза к возу, мама приценивается, торгуется. Вдруг сзади кто-то закричал:

– Поди!.. Поди!.. Поди!..

Обернулись: на народ едет лакированный экипаж. Лошадь белая, в яблоках, на козлах – бородатый мужик в красной рубахе и черном бархатном жилете. А в самом экипаже сидит толстая барыня и смотрит на возы. Против барыни на скамеечке примостилась тетенька в платочке, с корзиной на коленях.

– Поди!.. Поди!.. Поди!.. – опять кричит кучер.

Народ раздается на две стороны, а барыня прямо с экипажа спрашивает:

– Милая, почем твои утки? Мужичок, сколько просишь за

гуся? – И торгуется, как цыганка.

Наконец сторговалась. Тетенька в платочке взяла с воза гуся и опять села в экипаж на скамеечку. Тут гусь как рванется, как хватит барыню крылом по шляпе – и полетел над головами народа. Народ кричит:

– Держи!.. Лови!.. Хватай!..

А гусь все хлопает крыльями, все летит да покрикивает: «Га!.. Га!.. Га!..»



Какая-то рыжая девчонка как подпрыгнет, как схватит гу-

ся за лапу! Гусь отбивается, хлопает рыжую крылом по голове. Она его за другую лапу, за крыло. Усмирила и принесла в экипаж тетеньке в платочке.

– На, – говорит, – растяпа!

Барыня покопалась в серебряной сумочке и бросила к ногам девочки две копейки. Девчонка оглядела барыню зелеными глазами и дерзко усмехнулась:

– Жалко, мадам, что при мне мелочи нету, а то б я вам сдачи дала. – Да ногой с грязной пяткой и отшвырнула монету.

У барыни лицо стало красное, как бурак.

– Степан, – сказала она, – стегани эту сволочь!..

Кучер поднял кнут, но девчонка не испугалась. Она еще ближе подошла к кучеру и, как змея, прошипела:

– Только попробуй! Я тебе всю бороду выщипаю!..

И кучер ударил не ее, а лошадь и повез свою барыню из толпы.

Люди смеялись и говорили:

– Ну и Зойка! Саму мадам Медведеву отбрила!..

– Мама, – сказал я, – это ж та девчонка, что меня дразнила. Помнишь, мама?

– Она и есть, – засмеялась мама. – Ишь какая забияка!

– Она, мама, чики-рики?

– Кто ее знает, может, и чики-рики.

К тому времени, как нам переехать в чайную, я так осмелел, что отправился на базар один. Я тихонько выбрался из

подвала, прошел одну улицу, другую и скоро увидел золоченый купол церкви, около которой и кипел базар. Я ходил от воза к возу, от лавки к лавке, глазел на леденцы-петушки, на пряники-коники, глотал слюнки около медовой халвы и клюквы в сахаре. А когда опомнился и пошел поскорей домой, то увидел, что иду по незнакомой улице. Я вернулся на базар и начал озираться, но никак не мог сообразить, куда идти. И тут на меня напал такой страх, что я заплакал. Я плакал, а около меня собирались люди и наперебой спрашивали:

– Тебя что, побили? Ты что, заблудился?

Какой-то дедушка в очках кричал мне в самое ухо:

– Чей ты сын, а? Сын чей, а?

– Об... щества... трез... вости, – выговорил я, заикаясь от плача.

Тетка, от которой несло водкой, принялась хохотать:

– Вы слышали, добрые люди! Он сын общества трезвости!

Потеха!.. Ты что, дал зарок больше не пить?

– Да где ты живешь? Как улица называется? – продолжал кричать мне в ухо дедушка.

Я вспомнил фамилию квартирной хозяйки и сказал:

– Пого... рельская...

– В нашем городе нету такой улицы, – строго посмотрел на меня какой-то дяденька с папкой под мышкой. – Нету и никогда не было.

– Как нету? А на Собачеевке? – ответил ему другой дяденька в потертых брюках.

– На Собачеевке Кирпичная.

– Да вы очумели? – крикнула пьяная тетка. – Хлопчик вам толком говорит, что он с погорелова края. Погорелец он, понятно? Лето было жаркое, так сплошь пожары прошли. – И хрипло затянула:

Шумел, гудел пожар моско-овский,
Дым ра-асстился по реке-е...

Но те двое не обращали на нее внимания и продолжали спорить: есть в городе Погорельская улица или нету. И тут я вдруг увидел Машу и Витю.

– Вот он! – крикнула Маша. – Ах ты, паршивец! Ах ты, бродяжка! – и трижды шлепнула меня.

Хоть было больно, я не обиделся и весело побежал с Машей и Витей домой.

Отец танцует

Наконец настал день, когда во двор въехало двое дрог, и мы от Старого базара потянулись к Новому базару. Возчик, дюжий дядька в брезентовом плаще, и отец шли рядом с подводами.

– Я никак не пойму, куда вас везти, – сказал возчик.

– В чайную-читальню общества трезвости, – важно ответил отец.

– Это что ж, заведение такое?

– Да, заведение. Оно еще не открыто, но на днях откроется на Новом базаре.

Возчик подумал и покрутил головой:

– Ничего не выйдет. Прогорит ваше заведение.

Отец удивился:

– Почему?

– Так разве ж чаем вытрезвляются? Вытрезвляются огуречным рассолом. А еще лучше – стакан водки с похмелья.

– Вы не понимаете, – обиженно сказал отец. – Всякие алкогольные напитки там будут строго воспрещены. Только чай и газеты.

– Прогорите. Чай не водка – много не выпьешь.

Отец сердито хмыкнул и отошел от возчика. Тот опять покрутил головой:

– Чай вприкуску с газетой! Додумаются же!..

Вот и долгожданная чайная-читальня. Мы останавливаемся около длинного дома. Стоит он посредине площади, а вокруг клокочет базар. Народу – тьма-тьмущая. Горы арбузов, капусты, картошки. Вozy с помидорами, с баклажанами, с крупным болгарским перцем, с венками лука. Там жалобно поют слепцы, здесь бешено вертится под бубен цыганка в пестрой, со сборками юбке. Пронзительно кричат торговки, наперебой зазывают покупателей. Ржут кони, режут быки... И нет этому базару ни конца ни края.

Оглушенные, мы слезли с подвод и начали переносить наши пожитки в дом. Дело это, которым наша кочующая семья занималась еще до моего рождения, стало теперь и для меня привычным. Я несу утюг и кочергу, Витя волочит корыто, Маша тащит медный, с погнутыми боками самовар, а отец с возчиком сгружают рассохшийся скрипучий комод.

Похоже, что мы и вправду приехали в хоромы. В доме два больших зала; в каждом зале – один длинный стол и несколько обыкновенных. Кроме залов, есть еще кухня с замазанным в печку огромным котлом, в котором кипит вода. А за кухней – наша квартира. Да какая! Целых две комнаты! Правда, комнаты маленькие, в них еле-еле вместились наши пожитки, но все-таки две, а не одна. Отец сказал, что была одна, но он добился, чтоб разделили деревянной перегородкой пополам. Что ж, хоть перегородка деревянная, а комнат все-таки две. А стены! Таких стен я еще никогда не видел: гладкие-гладкие, без единого пупырышка. А потолки! Если б я

стал отцу на плечи, то и тогда не достал бы рукой до потолка. И как везде приятно пахнет штукатуркой и краской! Вот тут мы заживем!

Зал, в котором стоял буфетный шкаф со стойкой и из которого шел ход в кухню, мы сразу же назвали «этот» зал, а другой, который был за первым, – «тот» зал. Мы с Витей бегали из «этого» зала в «тот», от окна к окну и всюду видели ряды подвод с овощами, лотки со свежей рыбой, бочки с солониной и бекмесом³, корзины с бубликами. А деревянным лавчонкам не было числа. В одних набивали обручи на бочки, в других чинили дырявые ведра, в третьих лудили чайники и кастрюли. Скрежет, грохот и стук неслись к нам в окна со всех сторон. Только к вечеру базар утомился и притих. Но вечером мы увидели новое чудо. Отец поднялся на стол, чиркнул спичкой и поднес ее к рожку, который свисал с потолка на черной железной трубочке. Рожок, одетый в круглый сетчатый колпачок, ярко вспыхнул. Стало светло как днем.

– Это газ, – сказал отец. – Он идет сюда с газового завода по трубам под землей и горит лучше керосина.

Хоть от рожка пахло скверно, я окончательно поверил, что мы поселились в настоящих хоромах.

Утром мы с Витей стояли на улице и смотрели, как двое рабочих прибивали над дверью железными костылями вывеску. Витя читал бойко, и я к тому времени научился чи-

³ Бекмес – выварная патока из арбузов, груш или яблок.

тать, хоть и по слогам, и мы вместе прочли:

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О БЕДНЫХ
ЧАЙНАЯ-ЧИТАЛЬНЯ ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ

Мы гордо посмотрели друг на друга: знай, мол, наших! Не какой-нибудь там трактир или просто чайная – таких вывесок мы уже вдоволь насмотрелись в городе, – а чайная-читальня, да еще «общества трезвости», да еще «попечительство» – слово, которое и выговорить с непривычки трудно.

Вдоволь налюбовавшись вывеской, мы пошли на кухню. Мама суежилась у печки, а Маша перемывала в большой эмалированной чашке посуду. Стаканов было столько, что их хватило бы на весь базар. Мама дала нам с Витей по полотенцу, и мы принялись насухо вытирать стаканы и блюдца. В это время в окне показалась коляска. Мама выглянула в зал и опять вернулась к печке.

– Ну, уже затанцевал, – сказала она с досадой.

– Кто затанцевал? – спросили мы с Витей.

– Кто ж, как не отец ваш!

Мы бросили полотенца и побежали смотреть, как танцует отец.

По залу ходил высокий человек с серой бородкой, в сюртуке, со шляпой-котелком в одной руке и палкой с серебряным набалдашником в другой: сразу видно – важный барин. А отец вертелся около него, шаркал подошвами, кланялся, показывал обеими руками то в одну сторону, то в другую и говорил:

– Извольте пройти сюда-с!.. Извольте взглянуть на этот буфет-с!.. Извольте понюхать эту дверь: краска высохла и уже совершенно не издает запаха-с.

– Так-так, – говорил важный господин. – Так-так.

Тут подкатил еще экипаж, и из него вышли две женщины. У одной было целых три подбородка. Я сейчас же узнал в ней ту толстую барыню, которую отбрила на Старом базаре рыжая девчонка. Другая барыня была молодая, с маленькими черными усиками и такая вся ладная да красивая. Когда она проходила мимо меня, то вынула из сумочки мятную лепешку и сунула мне в рот. А Витьке ничего не дала, и Витька потихоньку обругал ее «кошкой».



Важный господин пошел барыням навстречу и начал целовать им руки. Барыня с усиками сунула и ему лепешечку. Отец еще чаще зашаркал подошвами и повел всех в «тот»

зал. Там он показал на длинный стол и сказал:

– Извольте посмотреть: вот «Приазовский край», вот «Донская речь», вот «Биржевые ведомости». Каждый день свежие газеты с местными, столичными и иностранными новостями. Это вот «Жития святых», а это, извольте видеть, любимая в народе книга «За богом молитва, а за царем служба не пропадают».



Барынька с усиками спросила:

– А Поль де Кока у вас нет? Я вам пришлю «Жоржетту».

Пусть читают. Какой чудный писатель этот Кок!

Важный господин сказал:

– Гм... Гм... Уж лучше тогда оды Державина. Это будет больше соответствовать духу заведения. Особенно ода «Бог»: «О ты, пространством бесконечный, живой в движении вещества...»

Тут что-то зазвенело, и в зал быстро вошел военный с закрученными вверх светлыми усами. Все на нем так и сияло: и золотые пуговицы, и золотые погоны, и шашка, и серебряные шпоры-колокольчики.

– А, вот и наш главный попечитель! – закричали барыни. – Здравствуйте, капитан!

– Здравия желаю, волшебницы, здравия желаю, прекрасные феи! – сказал блестящий, зазвенел шпорами и тоже принялся целовать барыням руки.

Я первый раз видел живого офицера и смотрел на него во все глаза.

Отец шаркнул ногой и так затанцевал вокруг капитана, что тот даже сказал:

– Послушайте, любезный, вы же мне на сапог наступите.

Вслед за офицером приехала старая барыня в мягких матерчатых туфлях. Она шла и припадала то на одну, то на другую ногу. Потом еще приехало с десятков разных господ и барынь. От всех от них пахло духами.

А потом прикатили на извозчиках священник с широкой и желтой, как веник, бородой, черный, как жук, дьякон и певчие. От этих пахло только ладаном. Я заметил, что отец хотел было потанцевать и около священника, но потом раздумал, наверно, вспомнил попа Ксенофонта, и обыкновенным шагом пошел на кухню за чашкой с водой для кропления стен. Дьякон взял кадило, а священник надел золотую ризу и затянул козлиным голосом молитву.

Народу в зал набилось столько, что отец из-за тесноты больше уже ни перед кем не танцевал, а только крестился и кланялся. Тут были и торговки с базара, и нищие-калеки, и обтрепанные мужчины в опорках. Один такой обтрепанный, с красным носом и слезящимися глазами навывкат, стал рядом с певчими и все время подпевал им, но только слова у него были совсем другие. Например, когда певчие пели: «Многая лета, многая лета, многая лета», он пел: «Ехала карета, ехала карета, ехала карета». Отец даже погрозил ему пальцем, но он только подмигнул и продолжал свое. Кончилось тем, что городской взял его за шиворот, вывел на улицу и дал коленом пинка. После молебна священник покропил стены святой водой и больше уже не пел, а заговорил обыкновенно:

– Православные миряне, возлюбленная паства наша! Алкоголь есть великое зло, порождение дьявола. Он растлевает душу и тело. Пусть же бог благословит городскую управу, нашего добрейшего городского голову (важный господин

в черном сюртуке поклонился), почтеннейших попечительниц ваших (барыни тоже наклонили головы) и всех тех, кто, внемля воле благочестивейшего государя императора и самодержца нашего, несут вам, миряне, благоденствие во трезвости.

Но тут красноносый оборванец, который незаметно вернулся в чайную, сипло сказал:

– Я извиняюсь, батюшка, только это татарам и туркам запрещено употреблять вино, а христианам можно. Его же и монаси приемлют. Сам Иисус Христос сотворил чудо и на горе, эх, забыл, как она называется, превратил воду в вино. Или на чьей-то свадьбе.

Священник покосился на него и недовольно сказал:

– В меру не возбраняется.

– Я ж и говорю – в меру. Душа меру знает. Вот уж где народ выпил вволю, на свадьбе этой!

Городовой опять вцепился в воротник оборванца, но тот начал отбрыкиваться и ругаться. И священник больше уже ничего не говорил, а снял свою ризу и, сердитый, поехал домой. За ним уехали и все важные господа с барынями.

А люди, которые набились в оба зала, расселись за столами и принялись пить чай с сахаром. И выпили весь котел, потому что в этот день всех, кто ни заходил, поили даром.

Горим

Утром следующего дня отец раскрыл двери чайной и расставил всех по местам. У дверей стал с полотенцем через плечо половой Никита, парень лет двадцати, в красной рубахе и белых парусиновых штанах. Он должен был подавать посетителям чай. Почему такие люди назывались половыми, я так никогда и не узнал. Понятней было другое их название – «шестерка»: в месяц им платили шесть рублей. Маша стала у эмалированной чашки, чтобы мыть посуду. Витя отправился в «тот» зал следить, чтобы кто не унес газету или книжку. Сам отец занял место за буфетной стойкой и поставил меня рядом с собой – учиться буфетному делу. А мама должна была подливать в котел воду и подбрасывать в печку уголь. В таком положении мы стали ждать посетителей. Но они так долго не показывались, что Никита даже задремал на ногах.

Наконец у двери что-то завозилось, и в зал, грохоча сапогами, ввалился огромный детина с бычьей шеей и красными глазами. Он тяжело опустился на заскрипевшую табуретку и ударил кулачищем по столу.

– Половой, стакан водки!

Никита затоптался на месте, не зная, что ему делать.

– Здесь водкой не торгуют, – строго сказал отец. – Здесь общество трезвости.

– Что-о? – взревел детина. – Ты откуда взялся, шкелет несчастный? Вот я возьму тебя за ногу и...

В это время с улицы донесся стук колес. Детина заглянул в окно и со звериным воем бросился к двери. И мы увидели, как он одной рукой схватил с воза огромный куль, положил его себе на плечо и скрылся в толпе.

Никита перекрестился.

– Пронесло, – сказал он побледневшими губами. – Ох, Степан Сидорыч, вы ж не знаете, кто это был. Это ж сам Пугайрыбка, грузчик с порта. Такой громила, что его даже полиция боится.

– А, черт! – с досадой выругался отец. – Первый посетитель – и тот разбойник.

После Пугайрыбки зашел лысый старик с топором за поясом, видно, дровосек.

– Та-ак, – протянул он, усаживаясь за столом. – С открытием, значит. Хорошее дело. Ну что ж, побалуемся чайком. Неси-ка, милый, чайничек.

– Извольте подойти к буфету и взять чек, – сказал Никита.

– Чего это? – не понял старик.

– Чек возьмите в буфете. Заплатите деньги, тогда получите чай.

– Да ты что? – уставился на Никиту старик. – Боишься, что я убегу?

Никита развел руками:

– Такой порядок.

Старик похмыкал, но все-таки к буфету подошел и выложил на стойку медяки. Отец выдал ему чек и объяснил, что этот чек он должен отдать половому. Никита взял у насупившегося старика листочек и принес его обратно отцу. Отец проверил, тот ли это чек, и нанизал его на стальную наколку. Потом всыпал в маленький чайник ложечку чаю, а на розетку положил два кусочка пиленого сахара. Со всем этим Никита пошел на кухню и принес оттуда стакан с блюдцем, розетку с сахаром, заварной чайничек и большой чайник с кипятком.

– Вот это порядки! – покрутил старик головой. – Настоящая бухгалтерия с канцелярией.

Пришел нищий на костылях и с котомкой за плечами. Он принес с собой селедку и потребовал тарелочку, «косушку» и пару чаю.

– Никаких «косушек», – сказал Никита. – Это тебе не трактир с музыкой, а общество трезвости. Иди к буфету, плати деньги, а мне неси чек, тогда и чай получишь.

Нищий долго сидел и размышлял. Потом надел котомку и заковылял из чайной.

Долго никого не было. Никита опять начал дремать. Голова его опускалась все ниже и ниже. Но тут муха садилась ему на лицо, он вздрагивал, со злобой хлопал себя ладонью по щеке, а через минуту опять задремывал.

Наконец пришло сразу трое. Это были крестьяне. Они принесли с собой сало и черный хлеб. Боясь, что крестьяне тоже уйдут, отец не стал требовать деньги вперед. Они поели

и принялись пить чай. Отец подошел к столу и, показав двумя руками на «тот» зал, спросил:

– Не угодно ли газетки почитать?

Крестьяне переглянулись.

– А чего в них? – спросил один. – Может, война?

– Нет, войны, слава богу, нету. Разные новости: местные, столичные, иностранные.

Крестьяне опять переглянулись:

– А про землю ничего не пишут?

– Про какую землю? – не понял отец.

– Слух такой идет промежду мужиков: землю скоро делить будут.

Отец пугливо глянул на дверь и строго сказал:

– Это политика. Здесь политикой заниматься воспрещается. Здесь общество трезвости.

– Так, так, – закивали мужики. – Это правильно.

Они молча допили чай, заплатили деньги и так же молча ушли.

Отец выписал чек и отдал его Никите. Тот долго держал листок в руке, видимо, размышлял, что с ним делать. И положил его перед отцом на стойку.

В полдень приехала старая барыня в матерчатых туфлях. Она повязала кружевной фартук и, переваливаясь с боку на бок, пошла по залам. Отец ходил за ней и пританцовывал. Барыня понюхала воздух, провела пальцем по столу – нет ли пыли – и уселась за буфетом.

– Разрешите доложить, мадам Капустина: посетители обижаются, что нужно деньги платить вперед. Некоторые даже уходят. Не привыкли-с, – сказал отец.

– Ничего, – прошамкала барыня, – привыкнут. Порядок есть порядок, а беспорядок есть беспорядок. Беспорядок всегда нарушает порядок, а порядок всегда пресекает беспорядок. Так им и скажите.

– Слушаюсь, – поклонился отец и шаркнул ногой.

Барыня еще немного посидела и уехала.

– Черт бы их побрал, этих дам-патронесс! – сказал отец. – От них пользы как от козла молока.

– Это ее дом на Полицейской улице? – спросил Никита. – Огромный такой!

– Ее. Что там дом! Муж ее председатель в банке, сорок восемь тысяч рублей в год огребает.

Никита даже пошатнулся.

– Сорок восемь тысяч?! Очуметь можно. Мне бы хоть тысячу! Хоть бы сто целковых!

Отец засмеялся:

– Ну и что б ты на них сделал?

– Что?.. Нашел бы что!.. Перво-наперво сапоги б себе купил. Домой бы на деревню уехал, оженился б... Корову купил бы, вола...

Подъехала коляска.

– Еще одна!.. – вздохнул отец и пошел из-за буфета навстречу барыньке с усиками.

Барынька ласково улыбнулась отцу, кивнула Никите, а мне опять сунула мятную лепешечку.

– Ну, как вы здесь? – защebetала она. – Да у вас никого нет! Что, дух трезвости гонит всех прочь? Мадам Капустина уже приезжала? Ужасно скучная старуха! А... – Она запнулась и порозовела. – А капитана Протопопова еще не было? Впрочем... – Тут она взглянула на золотые часики, висевшие у нее на груди. – Впрочем, еще без четверти час. Ну что ж, если у вас никто чай не пьет, выпью я. Можно?

Все столы у нас были покрыты клеенкой, но для дамы-патронессы отец бросился собственноручно накрывать стол скатертью. Никита с такой быстротой помчался в пекарню за печеньем, что на его плече захлопало полотенце.

Барынька пила чай, откусывала беленькими зубками печенье и рассказывала:

– Я больше люблю миндальное. Но его почему-то здесь не делают. У моего мужа свой пароход, он каждый месяц делает рейс в Марсель и обратно, и капитан всегда привозит мне свежее миндальное печенье. А вы любите миндальное?

Отец шаркнул подошвой.

– Так точно, мадам Прохорова, люблю.

– Вот видите, значит, мы во вкусах сходимся. А «клик» вам нравится?

– Как же-с, мадам Прохорова, как же-с! Печенье – высший сорт!

– Что вы! – Барынька расхохоталась. – «Клик» – это ви-

но.

Она все болтала и болтала. Потом опять глянула на часики и прошептала:

– Полное неуважение к даме...

Но тут зазвенели шпоры. Барынька бросилась навстречу офицеру.

– Миль пардон, миль пардон! – весело сказал офицер. – Задержался на маневрах. – Он повернулся к отцу и сделал строгое лицо: – Что же это у вас пусто? Нехорошо, нехорошо!

Отец растерянно молчал.

– Но я же говорила, что сюда нужен Поль де Кок! – Барынька топнула ножкой. – Завтра же пришлите ко мне человека!

– Кок Коком, а вот без музыки тут не обойтись, – сказал офицер. Он ударил себя ладонью по лбу и крикнул: – Эврика! У директора кожевенного завода Клиснее есть фонограф. Замечательная штука! Клиснее привез его из Парижа. Едемте! Приступом возьмем!

– Не даст, – поморщилась барынька. – Я Клиснее знаю: скряга.

– Даст! Он привез себе уже другой фонограф, еще лучше этого.

Офицер подхватил барыньку под руку, и они укатили.

Отец задумался. Думал, думал, вынул из кошелька две медные монеты и бросил в кассу.

– Черт с ней! – сказал он. – Пусть этот чай пойдет за мой счет. На, Никита, чек.

Никита подержал чек в руке и сам нанизал его на стальную наколку.

Появился еще один посетитель. Хотя это был тот красноносый бродяга, которого вчера выводил городской, отец с Никитой и ему обрадовались.

Красноносый заказал чай, вынул из кармана бутылочку и ударил доньшком по ладони. Пробка вылетела. Он с бульканьем выпил водку и крякнул.

Отец и Никита сделали вид, что ничего не замечают: побоялись, что и этот посетитель уйдет.

– В меру можно, в меру можно, – бормотал красноносый, прихлебывая из блюдца чай. – Утречком шкалик, в полдень шкалик, сейчас вот шкалик. К вечеру, даст бог, еще настроляю копеек двадцать, а то и полтинник, – тогда уже и полбутылочку на сон грядущий можно. Так-то... У каждого своя мера. Так-то...

Напившись чаю, он мирно пошел к выходу, но у самых дверей столкнулся с толстой барыней. Красноносый посторонился и вежливо сказал:

– Просю, мадам. Только сразу не напивайтесь. Утром шкалик, в полдень шкалик, а на ночь можете и полбутылочку.

– Эт-та что такое? – накинулась барыня на отца и покраснела. – Поч-чему тут пьяный?

Отец испугался и затанцевал:

– Это-с природный алкоголик, мадам Медведева. Он, мадам Медведева, перейдет с водки на чай постепенно...

Отдышавшись, барыня начала проверять кассу. Она подсчитывала медяки и чеки и подозрительно посматривала на отца. А подсчитав, злорадно сказала:

– Восемь копеек недостает.

– Не может быть, – твердо ответил отец.

– А я вам говорю, недостает! Что же я, по-вашему, лгу?

– Вы ошиблись. Каждый человек может ошибиться, – настаивал на своем отец, совершенно забыв шаркать ногой. – Извольте пересчитать.

Барыня схватила чеки и начала пересчитывать.

– Правильно, – сказала она. – Я ошиблась по вашей вине: почему у вас нет счетов? Чтоб завтра же были счета.

Отец развел руками:

– На счета попечительство денег не выделило.

– Ну, так пришлите кого-нибудь ко мне. У нас в доме их сколько угодно.

Барыня уехала.

– Купчиха? – спросил Никита.

– А ты не видишь? – сердито ответил отец.

Когда стемнело, Никита зажег газовый рожок. Но на свет рожка так больше никто и не пришел.

Отец запер дверь на болт и сумрачно сказал:

– Кажется, возчик верно напороочил: горим с первого же дня.

Попечители

На другой день отец послал Витю и меня к даме-патронессе Прохоровой за Поль де Коком. Витька сказал, чтоб я не зевал по сторонам.

– Попробуй только потеряйся – сразу в будку попадешь.

Какой будкой он меня пугал, я не знал. Может, той, которая ездит по улицам с бродячими собаками? От страха я не спускал глаз с Витьки и ничего, кроме его синей рубашки, не видел, пока мы не подошли к дому Прохоровой. Вот это домик! Целых двенадцать окон! А над дверью железный навес, такой красивый, будто весь сделан из кружева. К двери прибита белая эмалированная дощечка, а на дощечке напечатано большими буквами:

АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ ПРОХОРОВ

Тут и Витька оробел. Надо было, как велел отец, придавить кнопочку, а Витька тарачил на нее глаза и боялся поднять руку. Потом презрительно глянул на меня, будто не он, а я боялся, и ткнул в кнопку пальцем. За дверью что-то зазвенело. Витька отскочил как ошпаренный. Дверь открылась, и какая-то тетка в белом фартуке и кружевной наколке закричала на нас:

– Вы чего балуетесь, паршивцы?!

Я уже хотел деру дать, но Витька сказал:

– Мы не балуемся, мы до барыни за Коком пришли.

– До какой барыни? За каким коком? Разве кок здесь? Кок на пароходе!

Витька огорошенно молчал.

– До какой барыни, я вас спрашиваю?! – кричала тетка.

Витька продолжал молчать. Тогда сказал я:

– Которая с усами.

Тетка засмеялась и спросила:

– Откуда вы взялись?

– Из общества трезвости, – в один голос сказали мы.

– А, тогда подождите.

Она ушла. А когда вернулась, то велела нам идти за нею следом. И мы пошли. Сначала шли по лестнице, только не вниз, как в квартире около Старого базара, а вверх. Лестница была широкая, а ступеньки белые, блестящие. И такие гладкие, что я даже поскользнулся, и Витька зашипел на меня. Потом мы вошли в комнату. Ну и комната! Наверно, и у царей таких не бывает. Все стены серебряные, а на стенах, в золотых рамах, веселые картины. И везде золото, золото. Даже клетка, что висела над окном, и та была золотая. Витька потом говорил, что и птичка в ней сидела золотая, но я этого не заметил. А из зеленых кадок поднимались до самого потолка невиданные деревья с длинными и узкими листьями.

Стали мы с Витькой на пороге – и ни шагу дальше. Барынька с усиками сидела между кадками в диковинном кресле и вместе с креслом качалась: вверх – вниз, вверх – вниз.

Увидела нас и спрашивает:

– Вы что за дети?

Мне, конечно, стало удивительно: два раза совала мне в рот мятные лепешки, а теперь спрашивает, что мы за дети. Я даже засмеялся:

– Вы меня не узнали?

Витька шагнул вперед и сказал:

– Не серчайте: он у нас вроде дурачка, потому что заморыш. Отец прислал за книжками для пьяниц. Вы обещали Кока дать.

– А, вы дети заведующего! – вспомнила наконец барыня. – Сейчас поищу.

Она ушла в другую комнату и оттуда вынесла нам две толстые книги.

– Вот, несите отцу. Пусть читает им по главе в день, поняли? Они прослушают одну главу и будут потом каждый день приходить.

За барынькой в комнату вошел тощий старичок.

– Совершенно правильно, – кивнул он облезлой головой. – Но при обязательном условии, что после каждой главы им будут выдавать по стакану водки.

Барынька стала сыпать какими-то неизвестными нам словами. Сыплет и сыплет. Знакомых было только два слова: «шут гороховый». Старичок ковылял по комнате и хихикал. Потом скривил рот и сказал:

– Зачем же вы за шута горохового замуж вышли?

Тут они начали смешно ругаться. Я даже рот закрыл ладонью, чтоб не засмеяться. Но все-таки не выдержал и прыснул. Старик как затопает ногами, как закричит:

– Вон отсюда, хамское отродье!..

И мы с Витькой задали такого стрекача, что опомнились только около чайной.

За то, что мы принесли книги, отец нас похвалил. Потом велел идти к купчихе Медведевой за счетами.

Купчихин дом был еще больше, чем прохоровский. Но нас дальше кухни не пустили. Купчиха вышла к нам сама, дала счета и сказала, чтобы мы несли их осторожно, не трясли, иначе они рассыплются.

Когда отец увидел эти счета, то схватился за бока и стал хохотать. Хохотал и выкрикивал:

– Вот так счета!.. Вот так миллионерша!.. Никита, Никита, иди посмотри, какой купчиха прислала нам подарок!.. Вот так расщедрилась!..

Никита посмотрел и тоже стал смеяться.

Счета были такие старые, что даже косточки на них потрескались.

– Так пусть же она на них и считает! Нарочно не куплю другие, – сказал отец.

После обеда он велел Никите и нам с Витей идти к капитану Протопопову за фонографом и трубой. Оказывается, Клиснее все-таки фонограф подарил, но прислал не в чайную, а офицеру на квартиру.

Мы долго стучали, пока, наконец, дверь открылась. Вышел сам капитан. Он был без сапог, в одних носках, и без кителя. Один ус, как всегда, закручивался кверху, а другой почему-то свисал книзу.

– Ну, какого черта надо? – сказал он сердито.

– Ваше высокоблагородие, – ответил Никита, – мы из чайной. Пришли за трубой и фамографом.

– Принесла вас нелегкая не вовремя! – пробормотал капитан и передразнил Никиту: – «Фамографом»! – Он постоял, почесал за ухом и сказал: – Ну ладно. Войдите в переднюю и стойте там.

В переднюю он вынес ореховый сундучок и огромную трубу из белой жести. Один конец трубы был узенький, как носок чайника, а другой такой широкий, что Протопопов зацепил им за дверь. Дверь распахнулась, и я увидел нашу барыньку с усиками. Она почему-то испугалась и шмыгнула за занавеску.

Мы пошли домой. Никита нес сундучок, а мы с Витей трубу. Витя держал ее за широкий конец, а я за узкий.

Когда мы пробирались через базар, из трубы вдруг что-то как закричит:

– Ой, гоп, чики-рики!..

От страха мы бросили трубу на землю. Позади нас приплясывала рыжая девчонка. Та самая. Оказывается, это она подкралась к узкому концу трубы и закричала в дырочку. Никита выругался, но она не отставала и все дразнила:

– Шарманщики! Карусельщики! Трубачи!..

В жизни еще не встречал такой противной ведьмы!

Она, наверно, дошла бы до самой чайной, но тут задралась двое мальчишек. Рыжая остановилась и начала подзадоривать их:

– Эй, чумазый, как же ты бьешь? По заливку его, по заливку! А ты, лопух, чего скапустился? Двинь его под микитки!..

Витя сказал:

– Жалко, что руки заняты, а то б я ее за патлы.

Никита только хмыкнул:

– Такая дастся!..

Когда мы принесли фонограф, в зале сидел красноносый, пил чай и что-то бормотал о шкалике. Увидя трубу, он сказал:

– Это труба Иерихонская, та самая, в которую трубил Иисус Навин. От звуков ее пали стены града Иерихона.

...Дня через два пришел капитан Протопопов и привел с собой мастера. Трубу подвесили к потолку, а узкий конец воткнули в ореховый сундучок. В сундучке блеснул стальной валик. Из длинной коробки, которую принес мастер, вынули валик восковой, пустой внутри, и насадили на валик стальной. Потом накрутили ручкой пружину и стали слушать. Сначала долго шипело, а когда перестало шипеть, то кто-то в трубе вдруг запел:

Вузэт аншантэ э шарман
Бэль амур, бэль ами, бэль аман⁴.

Голос был женский, но такой, будто женщина простудилась, охрипла и схватила насморк.

Протопопов притопнул ногой.

– Отлично! Теперь у вас будут стены ломиться.

И ушел, звеня шпорами.

Я вспомнил, что говорил красноносый о стенах Иерихона, и испугался. Но отец сказал:

– Как бы не так! Чего они будут ломиться, когда все валики на французском языке. Сюда бы «Разлуку» или «Вниз по матушке, по Волге». И из Кока ни черта не выйдет.

Все-таки он усердно крутил фонограф и зазывал наших редких посетителей в «тот» зал, чтобы читать им «Жоржетту». Иногда к нам заходили крестьяне со своим хлебом и пили чай. Сначала они пугливо заглядывали в трубу и говорили: «Тю!.. Дэ вона там ховається, чертяка?!» Потом, послушав немного, просили отца: «Да останови свой шарман, нехай ему бис!» От чтения же «Жоржетты» оборванцы засыпали или незаметно, чтоб не обидеть отца, переползали в другой зал.

По распоряжению барыни, что в матерчатых туфлях, отец

⁴ Vous été enchante et charmante, Belle amour, belle ami, belle amante. Вы были очаровательны и прелестны, Красивая любовь, красивый друг, красивый возлюбленный (фран.)

завел тетрабочку и отмечал в ней посетителей. Придет посетитель – отец поставит в тетрадке палочку, придет другой – другую палочку. А ночью, когда чайную закроют, отец все палочки подсчитывает. И каждый раз говорит:

– Как заморозил кто! Десять, двенадцать, от силы пятнадцать человек – и баста. Того и гляди, выгонят меня. А что я могу сделать!..

Но когда с неба полил холодный дождь, а потом замелькали в воздухе снежинки, все у нас изменилось.

Наши посетители

Никита и раньше говорил: «Вот подождите, Степан Сидорыч, залезет под рубашку мороз, так тут яблоку негде будет упасть». Так оно и получилось. С самого раннего утра в залы стал набиваться народ. У одного на голых грязных ногах рваные калоши, у другого – рыжие головки от сапог, третий натянул старые дамские туфли на высоких каблуках и козыряет на каждом шагу. Штаны на всех заплатаанные; из старых стеганок и даже шапок вылазит бурая вата. Волосы нечесанные, подбородки щетинистые, глаза красные, слезятся, руки грязные, трясутся. Придет вот такой и сядет в уголок, чтоб быть неприметнее. Но в углах всем места не хватает: люди идут и идут, целый день визжит блок на дверях. У кого в кармане задержались две-три медные монеты, те пьют чай, а большей частью босяки сидят просто так, греются в теплом помещении. Одного отец спросил:

– Кто ж вы такие: пропойцы, погорельцы или, может, каторжники беглые? И откуда вас набралось сразу столько?

Оборванец подышал на замерзшие руки, покряхтел и только потом ответил:

– Всякие. Одним словом, перелетные птицы, вроде журавлей. К зиме журавли летят в теплые края, а весной вертаются назад. Вот и мы так. А кого в пути застанет холод, тот оседает на месте. Нынче зима что-то рано пожаловала, не успел я

и до Батума добраться.

– И что ж, все пешком? – удивился отец.

– Когда пешком, а когда на буфере.

Дела в чайной пошли живей, и отец опять подбодрился. Мы с Витей привыкли скоро к босякам. В обоих залах висел сизый махорочный дым, от босяков несло водочным перегаром, да и вообще запах тут был не из важных, но мы чувствовали себя как рыба в воде. Каждый день происходило что-нибудь новое: то ввалится пьяный, буянит, ругается, и мы с Витей бежим в полицейский участок за городовым; то придет фокусник и начнет глотать огонь и разбитое стекло; то появится новый босяк, такой занятный, что все бы слушал и слушал, как он рассказывает о своих скитаниях.



Босяки были разные.

Однажды к нам пришел человек в дорогом, но сильно поношенном пальто, с редкой русой бородой, с широким лбом и маленькими глазками. Он прошел в «тот» зал, сел за длинный стол и потянул к себе газету. Немного почитал и отбросил ее.

– На кой черт мне знать, что там, в городской думе, болтает хлебный ссыпщик или рыбопромышленник? – зло сказал он. – Все говорят и говорят. Один доказывает, что надо электрическую станцию заказать бельгийцам, другой – что лучше немцев водопровод никто не проведет, а третий доби-

вается, чтоб трамвай строили французы. Но ни трамвая, ни водопровода, ни электричества как не было, так и нет. Зато свои инженеры, которые могли бы земной шар заставить вдвое скорей вращаться, ходят по родной земле с волчьим паспортом!

Он помолчал, глянул на шашки, что рассыпались среди газет, и предложил:

– Кто желает сыграть со мной на интерес?

Красноносый бродяга почтительно сказал:

– Какой же, господин инженер в отставке, может быть интерес, когда у нас ничего, за исключением вшей, не имеется. А вшей, я думаю, у вас и своих в избытке.

– Врешь, головастик, я хоть в данную пору и безработный, но в баню хожу каждую неделю. Ладно, садись, сыграем так.

Оборванцы столпились около стола, и все взяли сторону красноносого: подмигивали ему, кивали, а то и прямо подсказывали. Но скоро от его шашек, кроме запертых, не осталось ни одной.

Инженер сказал:

– Это что! Вот в шахматы бы! Да они в такой богадельне вряд ли водятся.

– Нет, водятся! – крикнули мы с Витей и побежали за буфетную стойку, где в коробке лежали причудливые фигурки. Отец был уверен, что в такую игру играют только образованные люди, и в «тот» зал шахматы не выносил.

Инженер расставил фигуры на доске и спросил:

– Ну, кто умеет?

Оборванцы молча переглянулись. Умеющих не нашлось.

Только один, патлатый, отозвался:

– В прошедшее время, когда я служил в Пречистенской церкви диаконом, мне не раз приходилось вступать на шахматном поле в единоборство с нашим благочинным, отцом Феофаном, но по доносу одного же благочинного был изгнан за вольнодумство, от водки и горя утратил зрение и теперь без очков не могу распознать, которая фигура есть лошадь, а которая королева.

Витя попросил:

– Научите меня.

Инженер оглядел его:

– Ты, брат, еще мал, не поймешь.

– А может, пойму, – настаивал Витя.

– Хорошему делу почему не научить! Только эта игра трудная.

– Поучи, поучи, – сказал дьякон.

– Ну ладно, попробуем.

Инженер стал объяснять, как фигуры называются и как ими ходят. Объяснял он хорошо, даже я понял. Потом опять расставил фигуры и принялся играть сам с собой. Пойдет белой фигурой и тут же объяснит, почему так пошел. Потом пойдет черной и тоже объяснит. После этого Витя уже стал сам за себя играть, но играл так плохо, что инженер его все время поправлял.

Следующие три дня Витя только и делал, что играл сам с собой в шахматы. А когда увидел, что инженер опять пришел, схватил доску и побежал в «тот» зал.

– Ты, хлопец, башковитый, из тебя выйдет толк, – сказал Вите в этот день инженер.

Со мной Витька играть не хотел. Только после того, как инженер куда-то пропал, он сказал мне:

– Да научись ты играть, дурачина!

Мы сели за доску, и я проиграл семь раз подряд.

С Витей я играл часто и всегда проигрывал. Только раз (это было три года спустя) мне удалось выиграть у брата партию. Но эта победа меня не очень порадовала. Витя сказал: «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться». Вообще брат был во всем гораздо способнее меня.

– Скажи какое-нибудь слово, – предлагал он.

Я говорил, и он сейчас же называл число букв в этом слове.

Раз он спросил:

– Какое самое большое слово ты знаешь?

– Превышеколоколенходященский.

– Двадцать семь, – сейчас же сказал он.

А спорить с ним было совсем невозможно: он всегда меня побивал.

– Что сильнее – вода или керосин? – спрашивал он.

– Конечно, керосин, – не задумываясь, отвечал я.

Да и как могло быть иначе! Вода ничего не стоила, а за керосин мы в лавочке деньги платим. Вода в лампе не горит, а керосин горит. Облей керосином полено и чиркни спичкой – сразу вспыхнет, а облей водой – не вспыхнет. Так я Витьке и объяснил.

А он мне:

– Ну и что ж! А я возьму и залью его водой. Значит, вода сильней твоего керосина.

Я чувствовал – тут что-то не так, но доказать не мог и от досады чуть не плакал.

Инженер то приходил каждый день, то исчезал на неделю и больше. Однажды вечером, когда он играл с Витей в шахматы, к нам пришел еще новый человек. В это время пел фонограф. Человек остановился перед ним, поднял бровь и прослушал всю песенку до конца. Я его хорошо рассмотрел: худой, высокий, полуседые, зачесанные кверху волосы, лицо бритое, длинное, нос с горбинкой, а глаза серые, большие. Когда фонограф замолчал, он медленно поднял плечи и сказал:

– Поразительно! Французская шансонетка в российском босяцком вертепе. Жизнь – сплошной парадокс.

Повернулся и пошел в «тот» зал.

Что такое «парадокс», я не знал, но и для меня было ясно: этому человеку наша чайная не понравилась.

– Что я вижу! – опять поднял он плечи. – Герр Стейниц готовит себе смену. И где же! В российском босяцком... гм...

клубе. Парадокс! Сплошной парадокс!

Инженер насмешливо сказал:

– А, граф! И вы сюда забрели? Стейница себе оставьте: Чигорин мне родней. Не хотите ли продолжить сей парадокс и сразиться на звание чемпиона... босяцкой команды?

Граф поклонился:

– Сочту за честь. Что ставите?

– Будущий мост моей конструкции через Дон и вот жилетку, что на мне, против вашего особняка на Невском и, с позволения сказать, пиджака, что на вас.

Граф опять поклонился:

– Условия приняты.

Они играли и один над другим насмехались до тех пор, пока не закрыли чайную. Но так партию и не кончили. На другой день пришли доигрывать, но опять не кончили. Только на третий день помирились на ничьей и ушли на толкучку. Вернулись оба пьяные. На инженере не было жилета, а на графе – пиджака.

Инженер кричал:

– Вырожденец! Гнилая кровь! От вашего брата земля уже сто лет пользы не знает!.. А за что я гибну, я, человек одной крови с Ломоносовым!..

– Все погибнем, все! – в свою очередь, кричал граф. – В водке сгорим, в спирте!.. В голубом огне!..

С тех пор граф стал приходить каждый день, и, хотя никогда не скандалил и не шатался, а только шептал не по-русски

какие-то стихи, видно было, что он сильно пьяный.

В последний свой приход он и стихов не шептал, а сидел молча и качал головой. Вдруг он упал. Когда мы с Витей подбежали, то увидели, что рот у него открыт и вокруг рта колеблется голубоватое пламя. Дьякон сказал, что это горит спирт, который выходит из графа вместе с дыханием, и стал креститься. Пришли городовые и графа унесли куда-то. С тех пор мы его не видели. Был ли он настоящий граф или его только так прозвали, никто не знал. А партию, которую он играл с инженером, Витя запомнил и всю жизнь говорил, что оба они играли как чемпионы мира.

Однажды к нам завернул человек такого маленького роста, что я принял его за мальчика. Но по голосу, когда он сказал: «Мир дому сему!» – догадался: нет, это взрослый. На человеке была солдатская шинель, за спиной – ранец, в руке суковатая палка. Он пил чай и после каждого глотка говорил: «А!» Отец долго к нему присматривался и наконец сказал:

– А что, братец, не влезешь ли ты в наш котел?

– Сварить хочешь? – спросил человек.

– Что ты! Живи с богом! – ответил отец. – Накипи много на стенках в котле, поскрести надо, а горлышко маленькое, обыкновенный человек не влезет.

– Я, значит, не обыкновенный? Ладно, почищу. А когда тебе?

– Вот закроем чайную, котел остудим – и полезай.

– Давай задаток.

Отец качнул головой:

– Ну, нет! Возьмешь – и поминай как звали.

– Давай, говорю! Лошадь не обманывал, собаку не обманывал, с воробьем и то во взаимном доверии жил, а ты опасаешься.

– Сколько ж тебе?

– Гривенник.

Отец подумал и вынул из кассы два пятака.

– Дело! – сказал человек. – Остуживать не надо: без этого обойдемся.

Он допил чай, сунул деньги в карман и ушел.

Никита хихикнул:

– Плакали ваши пятаки.

«Плакали или не плакали? Придет или не придет?» – гадали мы с Витей.

Он долго не приходил. Ночью, когда уже надо было закрывать чайную, отец сказал:

– Жулик!

Но тут блок на двери взвизгнул, и маленький человек вошел в зал. Не говоря ни слова, он прошел на кухню, там вынул из карманов шинели три пакетика, высыпал из них на стол какие-то порошки, перемешал и бросил в котел.

С полчаса он сидел и аппетитно рассказывал о вкусном хлебном квасе, какой делают монахи в Святогорском монастыре. Потом приставил к котлу ведро и открыл кран. Вода полилась белая, как молоко. Котел промыли. Отец заглянул

в него и сказал:

– Да ты колдун, что ли?! Совсем чистые стены.

– Чего – колдун! Я путешественник. Хожу по земле и все, что вижу, складываю сюда. – Он ткнул себя пальцем в лоб.

Мама сказала:

– Скушай с нами борща, добрый человек. Угостила б чем получше, да ничего другого сегодня не готовили.

Путешественник ел борщ, после каждой ложки прикрывал глаза и говорил: «А!» Поев, он встал и, поклонившись в пояс, поблагодарил маму. Потом предложил:

– Хочешь, я завтра сварю тебе борщ по-болгарски?

– Ну что ж, свари, – сказала мама миролюбиво, но, как мне показалось, немного с обидой. – Поучи меня, деревенскую бабу.

– Поучу, мамаша, поучу, – будто не замечая обиды, сказал путешественник. – А ты поучи меня, как варишь свой прекрасный борщ. Вот мы и квиты будем.

Путешественника оставили ночевать на кухне.

Рано утром он вымыл стол, на котором спал, и отправился на базар. Оттуда принес полную кошелку кореньев и овощей. Перед тем как начать готовить, состриг на пальцах ногти, а руки вымыл с мылом. Борщ получился обжигающий, но очень вкусный. Сколько потом мама ни пробовала, он у нее таким не выходил, а клала она в кастрюлю все, что клал и путешественник.

– Давай пятак, – сказал он отцу после обеда.

– Это еще на что? – спросил отец с полным доброжелательством.

– Сделаю угощение твоим тараканам. Тараканов у тебя больно много развелось: непорядок.

Действительно, этой гадости у нас было столько, что ночью мы боялись пройти босиком по полу, а у Маши даже посуда падала из рук, когда по столу проползал черный жирный тараканище.

После закрытия чайной мы все принялись мыть полы. Вымыли так, что нигде не осталось ни одной крошки съедобного. Путешественник размочил хлеб и долго ворожил над ним: подсыпал то сахару, то борной кислоты, то еще чего-то. Потом велел мне и Вите делать из этого хлеба маленькие шарики. Шарики он насовал во все шкафы и разложил на полу, особенно густо там, где были норки и трещинки.

К утру дохлые тараканы усеяли все полы, будто здесь происходила тараканья битва. Никита сметал их на лопаточку и бросал в печку. Тараканы в огне трещали, а Никита злорадно говорил: «Ага, сволочи!»

Спалив их всех, Никита сказал путешественнику:

– А ты, браток, и вправду есть колдун.

– Считай, как знаешь, – ответил тот ему. – Ежели человек, который у всех учится, есть колдун, значит, и я колдун. А по моему, нет глупей того человека, будь он даже профессор, который только других учит, а сам ни у кого не учится.

Отец опять предложил ему переночевать. Он ответил не

сразу, а когда ответил, то будто не на то, что ему сказал отец:

– Вот молодцы твои еще в коротких штанишках ходят. А им бы пора уже и длинные пошить.

– Пора, – сказал отец, – да все недосуг к портному сходить.

– А материя есть?

– Да и материи нету.

– Н-да... Ну, давай деньги, пойду куплю.

– Да ты меня разорить решил! – воскликнул отец и засмеялся, довольный.

Он принес из кассы две зеленые бумажки и подал путешественнику. Тот велел нам с Витей одеться.

– Пойдем за покупками, – сказал он.

Мы ходили из лавки в лавку, перед нами торговцы развертывали толстые штуки материи, но путешественник покупать не спешил, а смотрел, щупал и говорил нам:

– Приглядывайтесь, чтоб по вкусу было, чтоб не жалеть потом.

Витя выбрал себе материю черную, с рубчиком. Я хотел тоже такую, но Витька презрительно сказал:

– Мал еще.

Конечно, ему было досадно, что мне сошьют длинные штаны тогда же, когда и ему, и он хотел, чтоб его штаны хоть цветом отличались от моих. Я чуть было не заплакал, но путешественник сказал:

– Вот это к твоей фигуре больше пойдет. А? Как счита-

ешь? – и показал мне серую материю, без рубчиков.

Назло Витьке я сказал, что, конечно, серая лучше черной.

Путешественник подмигнул лавочнику, и тот завернул Витькину материю отдельно, а мою отдельно. Я нес свои будущие брюки, вдыхал запах новой материи, и этот запах краски был мне приятнее всех запахов на свете.

Шил нам брюки сам путешественник, вручную. Мы с Витей сидели против него на низеньких скамеечках и слушали, что он нам говорил о лесах. В наших краях лесов совсем не было, все только степь да степь, а ведь в лесах происходило все, о чем рассказывается в самых интересных сказках. Только он рассказывал не о лесах, не об избушках на курьих ножках, а о медведях, о волках, о птицах и деревьях. Он то куковал кукушкой, то подвывал волком, то изображал, как шумит, подобно морю, сосновый бор.

– А из зверей я всех больше люблю белку, – сказал он. – Такая забавная зверушка! Иду раз по лесной тропе, глянул вверх – сидит она на сосне. Прижалась к стволу, уши торчком и смотрит на меня с превеликим любопытством: дескать, что это за зверь двигается на двух лапах? Я остановился и говорю: «Милая, ты меня не бойся, я зла тебе не сделаю. Видишь, я и сам ростом невелик. Лучше сядем вот под этой сосенкой и побеседуем: может, и пойдем друг дружку». И она уже начала было спускаться, но потом раздумала, сиганула, вроде акробата, на другую сосну – и была такова.

– А разве она может говорить по-человечески? – спросил

я.

Витька сейчас же фыркнул. Но путешественник сказал:

– Так, как мы, она, конечно, разговаривать не умеет, но сделать лапкой знак какой-нибудь и она, по-моему, смогла бы.

Брюки получились как у взрослых: длинные, с двумя большими карманами и одним маленьким – для часов. Конечно, часов у нас не было, как не было и надежды иметь их, но кармашками мы еще долго гордились.

За работу путешественник не взял с отца ничего. Он пообедал, надел свою солдатскую шинель и стал прощаться.

– Куда ж ты теперь, милый человек? – спросил отец.

– А все дальше и дальше. Буду идти вперед, пока не приду на то место, откуда вышел.

– Мудрено понять, – грустно сказал отец. – И все пешком?

– Пешком.

– Далеко ли пешком уйдешь! Шаг-то у тебя мелкий.

Путешественник прищурил глаз.

– Ползет как-то муравейка вверх по березе, а я лежу под тем деревом и гляжу на него. Потом отвлекся, глянул туда-сюда, и, когда опять поднял кверху глаза, муравейки уже и видно не стало. Так-то.

– Ты хоть скажи, как звать тебя, – спросил отец.

– Как звать? – Путешественник подумал: – По-разному: летом – Филаретом, а зимой – Фомой.

Отец развел руками:

– Ну что ж, раз не хочешь сказать, не буду допытываться.

Исчезновение Никиты

И еще один человек остался у меня в памяти на всю жизнь.

Лицо у этого человека было бескровное и рыхлое, будто его вот только сейчас вылепили из известки, даже просохнуть не дали. Веки без ресниц, глаза – как две изюминки, воткнутые в тесто. Ходил он в старой заштопанной шубе и всем жаловался, что его ограбила и выгнала жена с приказчиком. Но о нем говорили, что жену свою он уморил голодом, а приказчика чуть не убил гирей за то, что тот взял у него в лавке полфунта колбасы. Он мечтал захватить в городе всю колбасную торговлю, однако другой колбасник сумел какими-то махинациями разорить его, и он помешался. У нас он подсаживался к каждому столу, за которым ели, выклянчивал кусочек. Глядя на него, Никита всегда говорил: «Эхма! Родила меня мать – не нарадовалась, семь верст бежала – не оглядывалась!»

Однажды поздней ночью полураздетый Никита прибежал к нам в комнату и с испугом сказал:

– Степан Сидорыч, кто-то в дверь ломится.

Все всполошились, зажгли огонь и стали около двери – кто с кочергой, кто с топором. Снаружи неслся дребезжащий голос:

– Пусти-и-и! Замерза-а-ю!..

На улице действительно было очень холодно. Никита прислушался и с облегчением сказал:

– Да это Хрюков, полоумный!

Дверь открыли, и Хрюков на четвереньках вполз в зал. Он дополз до печки, приподнялся – и вдруг рухнул на пол.



– Помер, – сказал Никита, взглядевшись ему в лицо, и побежал в участок за полицией.

Приехали за Хрюковым только утром. Раздели, осмотрели и увезли в повозке.

А грязная шуба осталась у нас. Боясь заразы, отец облил ее карболовой кислотой и бросил во дворе на угольную золу. Там шуба и лежала, пугая Машу и нас с Витей. От кислоты она истлела и распалась на клочья. Отец сказал Никите:

– Отнеси эту гадость на базар, брось там в мусорный ящик.

Я стоял на дворе, когда Никита собирал клочья. Вдруг он пугливо глянул на меня и сиплым голосом сказал:

– Иди отсюда!.. Иди скорей, а то заразишься...

Я ушел.

И больше мы Никиту не видели. Он унес истлевшую шубу и не вернулся. Даже паспорт и валенки оставил.

Отец заявил в полицию. Там спросили:

– Ничего не украл?

– Ничего, – ответил отец. – Это-то и странно. С чего ему убегать?!

Полиция искать Никиту не стала, только паспорт и валенки забрала.

Отец помрачнел и стал часто задумываться. Маша во сне вскрикивала, а проснувшись, крестилась и говорила, что за нею гнался Хрюков. Мерещился мертвец и нам с Витей. А тут еще откуда-то поползли слухи, что Никиту унесла нечистая сила, с которой Хрюков был в дружбе, будто злой дух мстил Никите за то, что он бросил в мусорный ящик шубу мертвеца.

Однажды мы с Витей, взявшись за дужку, понесли во двор

цибарку с угольной золой. Только хотели высыпать золу на кучу, как Витя крикнул:

– Ой, что это?!

В куче блеснул желтый кружочек. Витя схватил его и стал рассматривать.

– Золотая, – сказал он. – Старинная.

Мы побежали к отцу. Узнав, где мы нашли монету, отец побледнел и перекрестился, а потом и монету стал крестить.

Крестил и в страхе шептал:

– Наваждение... Приманка... Приманка нечистой силы...

Он задумался. И вдруг радостно засмеялся.

– Ах вот в чем дело! Теперь понятно!

И побежал во двор.

Там он принялся разгребать золу пальцами. Блеснула еще одна монета, другая, третья...

– Все, – сказал отец, когда выгреб штук пятнадцать таких монет. – Глубже уже не может быть.

Он собрал всех нас в комнате, запер дверь и шепотом сказал:

– Никакой нечистой силы. Просто полоумный Хрюков носил в шубе зашитые монеты. От кислоты шуба распалась, и монеты высыпались. Никита их собрал и дал деру. Впопыхах даже все не захватил. Ну, поживился парень! Теперь будет первым кулаком в деревне.

Зойка

Витя, надев длинные брюки, заважничал. Конечно, важничать стал и я. Но вот досада: босяки, которые видели меня всегда в коротеньких штанишках, совершенно не замечали, какая в моей одежде произошла перемена. Я вертелся перед ними, без нужды лазил в карманы, выставлял одну ногу вперед, напоказ, но они хоть бы что! Мама только раз полюбовалась мною в новых брюках – и тем дело кончилось. И вдруг мои брюки заметили.

Отец послал меня с запиской к столяру, чтоб тот пришел в чайную и перебрал худые табуретки. Столяр жил на Перевозной улице. Отец подробно рассказал, как найти дом столяра, и я пошел. Шел я, правда, не без робости: до этого мне редко приходилось ходить по городу одному. Но я все время себя подбадривал. Вот дошел я до шумного Ярмарочного переулка; вот по переулку дошел до Петропавловской улицы, самой главной в городе; вот поравнялся, как и рассказывал отец, с двухэтажным домом, у дверей которого, под стеклом, выставлены фотографические карточки; вот перешел, оглядываясь по сторонам, через железную дорогу; а вот передо мной и домик с деревянным петушком на крыше.

Я постучал в калитку, отдал записку и пошел обратно, довольный, что так хорошо выполнил поручение отца. Перед железной дорогой я остановился и принялся рассматривать

шпалы и рельсы. Я уже знал, что по этим рельсам катят в порт, прямо через город, поезда. Ну и пусть катят, а мне ни чуточки не страшно: ведь я уже не тот деревенский хлопчик, который до смерти испугался, когда наша арба остановилась ночью перед железной дорогой. Конечно, это было здесь: вот и полосатый столб, вот и будка. Я храбро перешел через рельсы. Вдруг слышу, кто-то кричит:

– Эй, здоровяк, давай ударимся!

Оглянулся, а по шпалам идет мальчишка, чуть не вдвое больше меня. Подошел, глаза прищурил, губу оттопырил и спрашивает:

– Ты чего тут ползаешь? По заливку захотел?

У меня душа ушла в пятки.

– Нет, – сказал я ни жив ни мертв.

– Нет? – удивился он. – Не хочешь по заливку? А чего ж ты хочешь?

– Я домой хочу...

– А, домой! Хорошо, сейчас я тебе покажу твой дом.

Он сбил с меня картуз и потянул за волосы. Я заревел.

– Ну как, видишь свой дом? Нет? Ну, сейчас увидишь.

И потянул еще сильнее.

Когда я решил, что жизни моей настал конец, мальчишка неожиданно шлепнулся на землю. Над ним стояла рыжая девчонка и кричала:

– Ах ты, жаба! Ах ты, гадюка! На маленьких нападать?!

Мой мучитель хотел укусить ее, но она так двинула его

ногой, что у него кровь пошла из носа.

Я не успел опомниться, как оказался в будке.

За столом сидела растрепанная старуха и пила чай с сахаром вприкуску.

– Что, опять подралась? – спросила она равнодушно.

– Нет, – ответила девчонка. – Я тут одному нос расквасила: пусть не нападает на маленьких. Да ты ж посмотри, бабуся, кого я привела! Это ж тот цыганенок, который напугался поезда, помнишь? А теперь он ходит с трубой по базару, представления разные делает. Ох, умора!..

Бабка сонно сказала:

– Никакой он не цыганенок. Самый обыкновенный хохол.

– Ну, хохол, – без спора согласилась девчонка. Она оглядела меня и засмеялась. – Бабка, посмотри, он уже в длинных брюках! Он уже кавалер! Ох, умора!

Но тут от всего пережитого я стал дрожать. Бабка заметила и сказала:

– Он перемерз. Ты его положи на топчан и укрой шалью.

Рыжая потянула меня за руку и, когда я лег, укрыла. Потом и сама села на топчан.



– Хочешь, я тебе сказку расскажу? – спросила она. – Слушай: жили-были два гуся, вот и сказочка уся. Хорошая?

Я успокоился и перестал дрожать. Она сказала:

– Ну, теперь вставай, садись за стол: бабка тебе чаю нальет. Нальешь, бабка?

– Налью, – ответила бабка. – Что мне, чаю жалко?

Она нацедила из жестяного чайника в стакан чаю и положила передо мной огрызок сахара:

– Угощайся.

Никогда я в нашей чайной не пил с таким удовольствием чай, как теперь, в этой будке.

Вдруг в углу, в железной коробке, которую я еще раньше заметил на стене, что-то затарахтело. Бабка взяла со стола две палочки – одну с красным флажком, другую с желтым – и, кряхтя, пошла из будки.

– Это что она понесла? – спросил я.

– Сигналы, – объяснила рыжая. – Бабка всеми поездами командует. Покажет машинисту красный флажок, тот сейчас же: «Стоп, машина!» А желтый покажет – ничего, прет себе дальше. А ты по морю плавал?

Я признался, что не плавал.

– Там тоже флажками переговариваются. Вот идет посудина, а навстречу ей другая. Сейчас же на первой флажки кверху поднимаются. Это значит: «Эй, старая калоша, куда путь держишь?» А с другой отвечают: «А тебе какое дело, корыто дырявое? Хоть бы и в Бердянск!»

Будка начала мелко дрожать. Издали донесся глухой грохот. Он все нарастал и нарастал, и вот уже ничего на свете не осталось, кроме этого страшного грохота. Рыжая что-то мне кричала, но я не мог разобрать ни слова.

Когда грохот вдали смолк, бабка вернулась и налила мне еще чаю. От железной печурки в будке было жарко, а тут еще чай – меня разморило, и я стал клевать носом.

– Пусть еще полежит, – сказала бабка. – Ничего, пусть.

Я лег и задремал. А когда проснулся, то услышал:

– Мне что, мне бы только дожить, когда ты замуж выйдешь, а там и умереть не страшно, – говорила бабка.

– Я замуж не выйду, – отвечала рыжая.

– Чего так?

– Я конопатая.

– Ну и что ж, что конопатая! И конопатые выходят. Это первое. А второе, конопатки зимой сходят, а для лета можно купить мазь «Мадам Морфозу».

Заметив, что я проснулся, бабка сказала:

– Вот и отдохнул. Теперь иди домой, а то там, наверно, уже беспокоятся.

Рыжая вызвалась проводить меня.

Уже стемнело, когда я вернулся в чайную. Столяр сидел в зале на корточках и чинил табуретку. Как только я переступил порог, отец закричал:

– Ты где шляется, мерзавец? Все с ног сбились, искали тебя!

Он схватил меня за руку, потащил в нашу комнату и велел стать на колени. Я хотел рассказать, что со мной случилось, но он не слушал, а все бил меня по щекам. Потом приказал просить прощения. Я сказал:

– Прости, папочка.

Он дал мне поцеловать руку и ушел за буфет. А я забился в угол и долго там плакал.

Пришла мама, раздела меня и уложила в постель. Она лег-

ла со мной рядом, прижала к себе и тоже заплакала.

Отец и раньше бил меня...

«Петр Великий»

После того как Никита исчез, у нас полового долго не было. Подавали посетителям чай я и Витя. Мы мели полы, мыли клеенки на столах. Посетители подзывали меня по-разному. Одни, зная, что я сын заведующего, а заведующий ходит в сюртуке и галстуке, манили меня к себе пальцем и говорили: «Барчук!» Другие видели во мне обыкновенного «шестерку», хоть и малолетнего, и кричали через весь зал: «Эй, малой!» А нищим-старикам было все равно, барчук я или «шестерка», они все называли меня просто и ласково: «Касатик».

Отец не торопился нанимать нового человека: пока за «шестерку» работали мы с Витей, жалованье полового шло в пользу нашей семьи. Подавать чай я наловчился не хуже Никиты: в левой руке нес блюда и стакан, в правой – большой чайник с кипятком и маленький, заварной.



Но все-таки носить чайник было тяжело, и однажды у меня так разболелась правая рука, что я не выдержал и заплакал. Отец стал подыскивать подходящего человека. Сначала он нанял усатого добродушного дяденьку, по имени Антон. Три дня усатый работал бодро и весело. На четвертый попросил у отца разрешения отлучиться на полчаса и вернулся только ночью, пьяный и почему-то весь мокрый. Глядя на себя в зеркало, он качал головой и все говорил: «Эх, Антон, Антон! Пропал ты, Антон!» Утром он ушел, даже не взяв заработанных денег.

Половым стал Максим, человек с русой бородой и голубыми сумасшедшими глазами. Он тоже работал со всем старанием, но по ночам ему мерещилось, будто в окно лезут жулики. Он соскакивал со стола, на котором спал в «том» зале, хватал кочергу и становился перед окном. Так, совершенно неподвижно, он простаивал по часу и больше, пока не обессилевал. Кончилось тем, что он хватил кочергой по голове городского, который, проходя ночью мимо чайной, заглянул для порядка в окно. Разобравшись, кого он огрел, Максим скрылся из города.

Тогда на смену ему пришел Петр...

Как-то в чайную опять завернул Пугайрыбка. Конечно, пьяный. Он пальцем показал на трубу и сказал отцу:

– Запускай.

Отец послушно завел фонограф. Пока из трубы несло: «Бэль амур, бэль ами, бэль аман», – Пугайрыбка хитро под-

мигивал и притоптывал сапожищем.

Потом остановился и прогорланил:

– А ну, показывай!

– Что? – спросил отец, готовый на любую услугу, лишь бы не рассердить этого страшного гостя.

– Показывай, где она там прячется.

– Что ты! – угодливо заулыбался отец. – Это же машина.

Пугайрыбка схватил тяжеловесный сундучок и, как игрушку, завертел в ладонях. Потом стукнул по нему кулачищем и крикнул:

– Вылазь!

Никто, конечно, не вылез.

– А ну, еще так! – сказал громила и грохнул фонограф о каменный пол.

Машина разлетелась на куски. Пугайрыбка присел на корточки и с диким любопытством стал перебирать обломки. У отца дрожали губы, но он молчал. Да и что он мог сделать! Послать за полицией? Но, чтоб совладать с Пугайрыбкой, нужно было позвать по крайней мере четырех городских. Босяки тоже молчали и ошарашенно пялили глаза.

Вдруг со скамьи в углу поднялся человек, широкоплечий, высокий, и не спеша подошел к Пугайрыбке. Громила, по-свистывая, продолжал разглядывать обломки. Человек нагнулся, взял его за воротник и приподнял.

– Ты что? – повернул к нему голову Пугайрыбка.

Не отвечая, человек повел его к выходу.

Какой-то оборванец, очнувшись, распахнул дверь.

Человек нагнул Пугайрыбку и коленом двинул в зад.

– Нн-гав! – вырвалось у громилы из груди, и он ткнулся носом в снег.

Все ожидали, что Пугайрыбка, никогда не знавший отпора, вернется и схватится со смельчаком. Но он не вернулся. И вообще больше в чайную никогда не заглядывал. А тот, кто так его проучил, спокойно прошел в свой угол. Отец сейчас же подбежал к нему и залезбезил:

– Вот это поступок благородный! Ну и дал ты ему! Как же тебя зовут, чудо-богатырь?

– Меня? Петром. А что? – нехотя сказал человек.

– Петром?! – Отец даже руками взмахнул. – Ну прямо Петр Великий! Так, может, и по отчеству ты Алексеевич?

Человек усмехнулся:

– Алексеевич и есть.

– Скажи пожалуйста! – еще больше удивился отец. – Ну прямо с мраморного пьедестала! Царь!

У Петра один глаз был подбит, щека поцарапана, но все-таки он мне показался необыкновенно красивым.

– Послушай, милый человек, а не пойдешь ли ты к нам в половые? – спросил отец со сладкой улыбкой.

– Во! Аккурат царское занятие! – серьезно ответил Петр. Он подумал, что-то, верно, прикинул в уме и сказал: – Что ж, можно еще и в половые. Давай, хозяин, пятак: пойду в баню.

Так Петр стал у нас половым.

Отец очень боялся, что его за разбитый Пугайрыбкой фонограф выгонят. Он почистил бензином сюртук и отправился к Протопопову. Протопопов сначала ругался, но, когда узнал, как один бродяга выбросил из чайной знаменитого громилу, расхохотался.

– В зад? Коленом?! Пугайрыбку?!

На другой день попечитель сам явился в чайную, чтобы посмотреть на Петра.

– Да ты кто ж по профессии? – спрашивал капитан. – Борец? Грузчик?

– Половой, – ответил, сощурясь, Петр.

– В гвардии служил?

– Я один сын у родителей.

– Ну, а дверь эту можешь вышибить кулаком?

– Чего ж не вышибить! Постройка казенная.

Протопопов уехал, и вскоре все в городе узнали о чудо-половом. Дамы-патронессы, которые зимой почти совсем забыли о чайной, теперь снова зачастили к нам. На Петре брюки в латках и дырявые опорки, но он никому не кланялся и разговаривал с дамами-патронессами нехотя.

– Голубчик, Петр, – говорила одна, – как же можно ходить в таких непрезентабельных брюках! Я пришлю тебе черные в светлую полоску. Обязательно пришлю!

– Это ужас что за обувь! – говорила другая и закатывала глаза. – Я пришлю тебе шевровые туфли. Обязательно пришлю!

И действительно, слали и брюки, и туфли, и шерстяные чулки.

Но всех, как сказал отец, «переплюнула» купчиха Медведева. Однажды к чайной подъехали сани, из них выскочила розовощекая девушка с чем-то завернутым в простыню под мышкой.

– Вот, Петр Алексеевич, вам наша барыня прислали. Они приказали сказать, чтоб вы не жалели и носили на доброе здоровьичко.

Девушка хихикнула и умчалась.

Петр развернул простыню: там были черные брюки, сюртук и блестящие крахмаленные манишки. Петр долго таращил глаза, потом засмеялся и сказал:

– Вот возьму и надену! Черт с ними со всеми!

Когда он во все это вырядился, босяки сперва от изумления онемели. Потом со всех сторон послышались выкрики:

– Директор!.. Городской голова!.. Присяжный поверенный!..

Приехал Протопопов. Он сказал только:

– Министр! – И сейчас же уехал, так что отец не успел даже потанцевать вокруг него.

Теперь у нас опять стало пахнуть духами, хоть их и забивала махорка. От одной барыни пахло жасмином, от другой сиренью, от третьей фиалками. Но когда приехала мадам Прохорова, то все барыни заахали:

– Ах, Адда Маркусовна, да ведь это же «Лориган» Коти!

Да-да, настоящий «Лориган» Коти!

Мадам Прохорова вынула из сумочки флакончик и стеклянной пробочкой помазала всем барыням под носом. Дамы стали в кружок и зашептались. Одна шепчет:

– Вы заметили, в этом Петре есть что-то особенное. Держу пари, в его жилах течет голубая кровь!

А другая ей отвечает:

– Это все равно, голубая или не голубая. Главное, он страшно мужественный. В каждом его движении – сила!

Когда барыни разъехались, я спросил Петра, правда ли, что кровь у него голубая. Он ответил:

– Нет, обыкновенная.

О чем бы я Петра ни спрашивал, он всегда мне отвечал. И за это я его любил. Конечно, не только за это, а еще за то, что он не танцевал перед Протопоповым и барынями и никого на свете не боялся.

И все мы Петра полюбили. На базаре жить было страшно: ночью кругом ни души, кричи не кричи – никто тебя не услышит. А с тех пор как у нас поселился Петр, мы больше никого не боялись, даже самого Пугайрыбку, и спали спокойно.

Дэзи

Однажды мадам Прохорова приехала с девочкой моих лет. На девочке была беленькая меховая шубка и такая же шапочка. Отец как увидел девочку, так сейчас же сказал:

– Ангел! Настоящий ангел!

Девочка была похожа на мадам Прохорову, только без усиков. А красивей мадам Прохоровой, я думаю, никого на свете не было.

Не знаю почему, но, когда девочка посмотрела на меня, мне стало так неловко, что я убежал в нашу комнату. В комнате я долго высидеть не мог и опять пробрался в зал. На девочке шубки уже не было, а было коротенькое зеленое платье с золотыми пуговичками. Я спрятался за шкаф и оттуда смотрел на нее. В это время пришел посетитель и заказал пару чаю. Я не стал ждать, когда Петр возьмет у него чек и пойдет за чаем, а сам побежал на кухню. Там я вместо одного чайника с кипятком взял целых два и понес их в правой руке через весь зал на глазах у девочки. Даже посетитель удивился и сказал:

– Ух ты! Такой маленький, а смотри, два чайника припер!

Девочка дергала мадам Прохорову за платье и спрашивала:

– Мама, он лилипут? Мама, он лилипут?

– Да нет же, – отвечала мадам Прохорова, – он мальчик.

Девочка смело подбежала ко мне и спросила:

– А почему у тебя пуговички не серебряные? Разве ты не гимназист?

Мадам Прохорова сказала:

– Ну вот, Дэзи, ты поговори с мальчиком, а я пойду почи-
таю людям «Жоржетту». Петр, проводи же меня.

Я тогда не подумал, зачем ее провожать, если «тот» зал был у нее перед глазами. Не подумал потому, что девочка все задавала и задавала мне разные вопросы. Спросит и, не дожидаясь ответа, уже спрашивает о другом.

– А почему ты такой худой? Тебе не дают хлеба, да? Мама тоже не ест хлеба, чтобы сохранить талию. А где тебе елку поставят? А шпага у тебя есть? У Шурика шпага еще деревянная, но он сказал, что все равно будет из-за меня драться на шпагах с самим капитаном Протопоповым. А почему у вас так много столов? А шоколад «Пок» ты любишь? А какие у тебя коньки? «Снегурочки»? У меня «снегурочки» и еще... как их? Вот забыла...

Когда мадам Прохорова назвала свою девочку таким странным именем, я вспомнил, как одна барыня гуляла по тротуару с маленькой кудлатой собачкой и все ей кричала: «Дэзи, сюда! Дэзи, вернись!» Поэтому, как только девочка на минутку умолкла, я спросил:

– А почему у тебя собачье имя?

У девочки были и без того большие глаза, а тут она их так раскрыла, что, кроме глаз, я уже больше ничего не видел.

– Мама, – сказала она жалобно, – он ругается!..

Я хотел ей сказать, что и не думал ругаться, но в это время меня кто-то ущипнул сзади. Оглянулся, а это Витька.

– Девочка, – сказал он, – ты не обижайся: он у нас немножко дурачок, потому что заморыш.

– Я и сама догадалась, – сейчас же ответила ему девочка. – Он у меня все спрашивает и спрашивает и не дает мне слова сказать.

От такой несправедливости я вспыхнул и убежал в «тот» зал. А Витька остался с девочкой.

В «том» зале за длинным столом сидела мадам Прохорова и читала вслух толстую книгу. Босяки смотрели на патронессу осоловелыми глазами. Вдруг мадам Прохорова сняла руку с книги и почесала себе колено. Потом она почесала бок, потом спину, а потом вскочила и сказала:

– Кажется, я здесь паразитов набралась. Нет уж, читайте сами. – И быстро ушла, стуча каблучками.

Даже в «том» зале было слышно, как она говорила отцу:

– Это ужасно! Кусаются, как собаки! Посыпайте, Степан Сидорович, ваших посетителей антипаразитином. Купите пуд и сыпьте каждому за воротник по горсти.

Босяки при ней курить стеснялись, а теперь ожили и принялись вырывать из «Жоржетты» листки и крутить сигарки.

Когда я вернулся в «этот» зал, ни мадам Прохоровой, ни ее хорошенькой девочки там уже не было. Витька что-то жевал. Увидев меня, он полез в карман, развернул серебряную

бумажку и отломил от коричневой плиточки маленький кусочек.

– На, – сказал он.

– Что это? – спросил я.

– Шоколад. Это меня Дэзи угостила.

– Ну и ешь сам! – крикнул я и убежал на кухню.

«Каштанка»

Целый день я ходил понурый. Мне казалось, что все меня презирают, что я и на самом деле уродец и самый несчастный на свете человек.

Петр заметил, что со мной творится неладное, и спросил:

– Чего, Митя, закручинился? Или обидел кто?

– Так, – ответил я, пряча глаза. – Просто так.

– Просто, брат, ничего не бывает.

– Лучше б я умер маленьким! – вырвалось у меня.

Он не стал больше меня расспрашивать, но на другой день опять подошел и сказал:

– Тут один лотошник книжку оставил с картинками. Вот подожди, закроем чайную и читаем. Говорит, интересная.

Чайную закрыли. Петр принялся мести полы и мыть клеенки на столах. Чтоб скорей сесть за книжку, я усердно ему помогал. Отец не любил, когда газ напрасно горит. Петр потушил в «том» зале рожок и зажег маленькую керосиновую лампочку. Света ее хватало, только чтобы осветить книгу, но от этого сидеть за столом в темном зале было особенно уютно. Книга пахла краской, как и та материя, из которой путешественник сшил мне брюки. На картонном переплете был нарисован уличный газовый фонарь, вокруг фонаря мелькали снежинки. У подъезда дома стоял бритый мужчина в шляпе-цилиндре, в шубе нараспашку. Он смотрел вниз, а внизу,

у его ног, жалась собака, похожая на лисицу. Ее спина и даже ресницы были залеплены снегом.

– Начнем, – сказал Петр. – Глава первая. «Дурное поведение».

И он стал читать о собаке Каштанке, которая обрадовалась, что хозяин, столяр Лука Александрыч, взял ее с собой гулять, и от радости гонялась за собаками, бросалась на вагоны конножелезки и в конце концов потерялась.

Пока Петр читал, губы его все время морщились, будто он вот-вот рассмеется. Но он не рассмеялся, а когда дочитал первую главу, то положил на книгу руку, покачал головой и сказал:

– Хорошо.

– Читай дальше, читай! – попросил я.

– Нет, уже поздно. Иди спать, а то папаша заругает. Завтра будем читать. «Таинственный незнакомец» – называется следующая глава. Наверно, дальше еще интересней.

Уходить мне не хотелось, но не хотелось и Петру противиться. Я вздохнул и пошел.

Заснул я не скоро, все ворочался и ворочался, так что мама даже спросила меня, не заболел ли я. А когда заснул, то мне приснилось, будто собака, похожая на лису, застряла в снежном сугробе, поднимает к мордочке то одну, то другую лапку и дует, чтобы согреть их, а Дэзи стоит перед ней на серебряных коньках и хохочет звонко-звонко.

За ночь я успокоился, и, хотя вспомнил о Дэзи сейчас же,

как только проснулся, книжка с картинками оттеснила мою обиду: умирать мне уже не хотелось, а хотелось узнать, что будет дальше с Каштанкой.

По мере приближения вечера нетерпение мое возрастало. И вот мы с Петром опять за столом с ночником.

– Теперь ты читай, а я буду слушать, – сказал Петр.

Читал я по слогам, запинаясь и от волнения путая слова.

Петр взял у меня книгу и стал читать сам. И, как вчера, морщил губы, чтоб не рассмеяться. Читал он о том, как Каштанку взял к себе толстенький бритый человек в шубе нараспашку. Каштанка поела, разлеглась посредине комнаты и стала решать, у кого лучше – у прежнего хозяина или у нового. У нового обстановка бедная: диван, кресло, ковры, а у старого – богатая: верстак, куча стружек, лохань. Тут Петр не выдержал и засмеялся.

– А что ты думаешь, – сказал он, весело посмотрев на меня своими синими глазами. – Может, собака и правильно решила задачу. – Но вдруг он потемнел в лице и с натугой выговорил: – Богатство... Кареты, бриллианты, манто... Будь оно проклято все!..

Некоторое время он сидел молча и смотрел куда-то вбок, хотя там было темно и пусто. Потом потянул к себе книжку и стал читать дальше. Но губы у него больше не морщились, а на лбу так и осталась складка.

Книжку мы читали целую неделю – каждый вечер по одной главе. А когда кончили, то мне было и радостно, что

Каштанка нашла своих хозяев, и грустно, что толстенный бритый человек потерял сначала гуся Ивана Ивановича, а потом и Каштанку. Как он, наверно, горевал!..

– Понравилась тебе книжка? – спросил Петр.

– Ох, так понравилась, так понравилась!.. – Я не знал, как высказать то, что чувствовал.

– Ну так возьми ее себе.

От восторга у меня перехватило дыхание.

– А если... А если лотошник придет за ней?

Петр засмеялся:

– Не придет. Я тебя обманул. Книжку эту я купил. Вижу, что ты смутный ходишь, взял и купил.

Я схватил руку Петра и прижался к ней губами. Петр руку отдернул и сердито сказал:

– Вот это зря! Ты никому – слышишь? – никому руку не целуй! Только матери можно.

Опять у Зойки

Хотя в оба зала народу набивалось полно, все-таки редко кто из босяков пил чай. Дамы-патронессы, от которых с появлением Петра не стало отбою, затеяли новое дело. Чтобы босяки и нищие пили на подаяния чай, а не водку, попечители придумали чековые книжки. В каждой книжке пятьдесят листиков, и на каждом листике напечатано:

Настоящий чек принимается
в чайной-читальне общества трезвости
вместо одной копейки монетой

Дамы-патронессы разослали во все дома письма. Они писали, что подавать милостыню деньгами не надо, а надо подавать чеками, и тогда пьянство в городе будет выведено на чисто. Но босяки и нищие были тоже не дураки: набрав чеков побольше, они по дешевке продавали их базарным торговкам, а сами шли в монопольку. В чайную же являлись уже пьяненькие.

Маше, Вите и мне прибавилось работы: мы ходили по домам и продавали чековые книжки. Подойдем к двери, постучим или надавим кнопку – и ждем. Выходит хозяин или хозяйка и спрашивает, чего нам надо. Отвечала обычно Маша: – Нас прислали дамы-патронессы из общества трезвости. Мы принесли вам чековую книжку для пьяниц. Пожалуйста полтинничек.

Получив полтинник, мы прятали его Витьке в карман, а карман, чтобы не залезли чики-рики, зашлифовали английской булавкой. Но чаще нам говорили:

– Идите вы с вашими дамами-патронессами знаете куда!.. И захлопывали перед носом дверь.

Все-таки ходить по домам было интересно, а то ведь все в чайной да в чайной. Только если мы долго ходили, у меня начинали болеть ноги, и я весь раскисал. Тогда Витька говорил: «И чего он с нами увязался! Сидел бы дома». Но Маша всегда меня защищала и оставляла где-нибудь посидеть – или в лавочке, или в парикмахерской. Потом они за мной заходили, и мы возвращались домой вместе.

Однажды мы шли около железнодорожного переезда. Я сказал:

– У меня ноги болят. Я посижу около будочки.

Маша и Витя пошли дальше, а я открыл дверь и вошел в будку. Рыжая лежала на топчане, укрытая старым ватным одеялом. Лицо у нее было желтое. Увидя меня, она зашевелила бескровными губами и слабым голосом сказала:

– Бабуленька, посмотри, кто к нам пришел. Заморышек пришел.

Бабка, нагнувшись над тазом, что-то стирала. Ее серые космы свисали к самой воде.

– Вот и хорошо, что пришел, а то ты одна совсем тут затомилась.

– Ты больна? – спросил я.

Рыжая упрямо качнула головой:

– Была больна, а теперь уже здоровая.

– Ну-ну, здоровая! – заворчала бабка. – Одна тень от тебя осталась. Фелшар сказал, цыпленком кормить надо, а где его, того цыпленка, взять! Цыпленок, гляди, двугривенный стоит. Кусаются они нынче, цыпленки эти.

Я подсел к рыжей на топчан и сказал:

– Хочешь, я тебе сказку расскажу?

Она слабо улыбнулась:

– Про гуся? Про гуся я и сама знаю.

– Нет, эту ты не знаешь. Я про другого гуся, про Ивана Ивановича.

Она повеселела:

– Ой, умора! Да разве ж гусей зовут по-человечьи?

– Зовут. Вот слушай.

Я хотел ей рассказать все, что мы с Петром прочли в книжке, но с самого начала сбился, запутался и умолк.

– Нет, – сказал я, – лучше я тебе все это прочту. Вот приду еще раз и принесу книжку.

– А ты разве умеешь читать? – недоверчиво спросила она.

– Умею.

– Ну, прочти. Тебя Гришей зовут?

– Что ты! Меня Митей зовут. А ты – Зойка, я знаю.

Кто тебе сказал? – удивилась она.

– Тебя так на базаре называли, когда ты барыню отбрила, помнишь?

– А, ту, мордастую! Ты тоже видел? Я ее еще и не так! – Она посмотрела на меня смеющимися глазами и задорно сказала: – Меня все знают, вот я какая!

– Ну и дурочка, – проворчала бабка. – Живи потихонечку – и тебе хорошо будет.

Зойка свистнула. Я никогда не слышал, чтобы девочки свистели.

Теперь, когда мы отпраплялись продавать чеки, я всякий раз засовывал под рубашку книгу. Но ходили мы на другие улицы и только дня через три попали опять к переезду. Зойка еще лежала.

– Принес? – спросила она сердито. – Небось скажешь, что забыл?

– Нет, что ты! – ответил я. – Принес.

– Долго ж ты нес.

Я вынул книгу и опять примостился на топчане. Зойка взяла ее у меня из рук и недоверчиво полистала.

– Ладно, читай. Посмотрю, какой ты чтец. Может, ты и по покойникам читаешь?

– Вот и опять дурочка, – ласково пожурила бабка. – Кто он, псаломщик? Читай, Митя, не обижайся: она недужная.

Оттого, что книжку эту мне читал Петр, а потом я сам ее перечитывал два раза, я больше уже не запинался и читал так, точно знал каждую строчку наизусть. Сначала Зойка смотрела на меня сердито и недоверчиво, потом совсем забыла обо мне и слушала, расширив свои зеленые глаза и

полуоткрыв рот. А под конец стала хватать меня за руки и выкрикивать:

– Постой, постой! Как он сказал? Ха-ха-ха!.. Ой, умора!..

– Ну, Каштанка! – в свою очередь, откликнулась бабка из своего угла. – Попала в переплет собачка!

Я прочитал первую главу и закрыл книжку.

– Читай! – крикнула Зойка и даже толкнула меня ногой.

Но я боялся, что Маша и Витя будут искать меня и ругаться, и поспешил к двери, а книжку оставил Зойке.

– Читай сама, – сказал я. – Да поскорей, а то мне книжка нужна.

Через несколько дней я опять попал в будку. Зойка по-прежнему лежала и, мне показалось, стала еще желтей лицом.

– Ну, прочитала? – спросил я.

Зойка молчала. Бабка вздохнула и понуро сказала:

– Как же она прочтет, если она неграмотная.

Зойка так и подскочила на топчане.

– И неправда твоя, и неправда! Я все буквы знаю!

– Буквы знаешь, а складывать их не умеешь, – стояла на своем бабка.

Но Зойка не сдавалась.

– А вот и умею! А вот и умею!..

Она вытащила из-под подушки замусоленный букварь и стала водить пальцем под строчкой.

– О! – выкрикивала она буквы. – В! Ц! А! Овечка! Ви-

дишь, бабка, прочитала! Овечка!

– Не овечка, а овца, – поправил я.

– Ну, овца. Это ж все равно. Видишь, и на картиночке овечка с рожками.

– Вот по картиночкам ты и читаешь, – упорствовала бабка. – Не будь картиночек в букваре, ты б и одного словечка не сложила.

Зойка с размаху швырнула букварь в угол и отвернулась к стене. Полежав так немножко, она успокоилась и опять повернулась к нам.

– Ну, читай, – приказала она мне.

И не отпустила, пока я не дочитал всю книжку. Слушая, она то переливчато смеялась, то задумывалась и тогда делалась похожей на взрослую. С таким задумчивым видом она выслушала всю главу, в которой рассказывалось, как умер гусь Иван Иванович.

– Вот так и я умру, – сказала она и плотно сжала бескров-ные губы.

– Еще чего! – недовольно отозвалась бабка.

– Да, умру. Она приходит ночью, смерть, и сидит вон в том углу, подстерегает.

Но вскоре Зойка опять оживилась. А когда я прочитал слова: «Метаморфоза, случившаяся с хозяином», – она удивленно воскликнула:

– Что, что? С хозяином «Мадам Морфоза» случилась? Это как же понимать, бабка?

Книжку мне Зойка не отдала: прижала двумя руками к груди и замотала головой.

– Потом, потом! Я сама еще прочту.

Руки у нее были тонкие, как палочки, и мне стало ее жалко.

В тот же день я незаметно взял из кассы серебряный полтинник и спрятал во дворе, в золе. А утром купил на базаре двух цыплят, пяток яиц, франзоль – и все это отнес в будку. Бабка, как увидела, закрестилась и сказала:

– Откуда это у тебя, господи помилуй!..

Но я боялся, что дома меня хватятся, и объяснять не стал, а взял свою книжку и убежал.

Зачем я взял книжку, зачем?! Сколько раз я с упреком задавал себе этот вопрос. А затем, что еще тогда, когда мне ее дал Петр, я решил ее подарить Дэзи. Да, я решил ей подарить именно книжку, потому что лучше этой книжки я ничего не знал и ничего у меня не было.

Красный флаг

С некоторых пор лобастый инженер опять стал заглядывать к нам в чайную. Он проходил в «тот» зал и садился за длинный стол – играть с Витей в шахматы. Тогда же появился еще один новый человек – и тоже зачастил к нам. Он подсаживался к столу, инженер наскоро объявлял Вите мат, и новый посетитель пересаживался на место Вити, против инженера, а Витя становился позади и смотрел, как они играют. Они переставляли фигуры и разговаривали. А о чем, я понять не мог. Только не о шахматах. Нового посетителя инженер называл Кувалдин, а тот его – Коршунов. О всяком человеке я мог сказать: вот этот – мужик, этот – барин, этот – мастеровой, этот – не мужик, не барин, а кто-то вроде моего отца. Кувалдин же был для меня загадкой. Он больше походил на мастерового: лицом и фигурой худощав, кожа темная, будто от въевшейся в нее угольной или железной пыли, руки в старых порезах и желтых мозолях. Но держался он с инженером как с равным, даже посмеивался над ним, и говорил такие же непонятные слова, как и инженер. Из этих слов мне особенно запомнились «демагог» и «политический авантюрист». Демагогом Коршунов называл Кувалдина, а тот его авантюристом. Слова эти они выговаривали так, будто ругались ими.



И еще три слова удержала моя память: «люмпен-пролетарии», «пролетарии» и «буржуазия». Эти слова они говорили часто. Например, инженер ядовито спрашивал:

– Уж не босяки ли будут вашей движущей силой?

А Кувалдин ему отвечал:

– Нет, босяки – это люмпен-пролетарии. Настоящая движущая сила – это пролетарии, а не любезная вашему сердцу буржуазия.

Из этого разговора я с удивлением узнал, что наши обыкновенные босяки называются таким мудреным словом, которое натошак и не выговоришь. А буржуазия, наверно, – это

машина, которую изобрел инженер, потому она так и называется – движущая сила.

Через несколько дней после этого разговора в «тот» зал пришли еще три человека, чем-то очень схожие с Кувалдиным. Они читали разложенные на длинном столе газеты и о чем-то вполголоса переговаривались. А еще неделю спустя таких людей собралось в «том» зале уже с десятков. Кувалдин подошел к буфету и сказал отцу:

– Люди просят меня почитать им что-нибудь. Нет ли у вас интересной книжечки?

Отец засуетился и полез в конторку.

– Как же, как же! Вот, пожалуйста: «За богом молитва, а за царем служба не пропадают».

Книжку эту он уже давно снял со стола и спрятал в конторке, потому что босяки наполовину общипали ее на сигарки.

– Самая подходящая, – сказал Кувалдин.

Он вернулся в «тот» зал и начал читать про какого-то солдата, который тридцать лет служил царю верой и правдой. Отец тоже пришел в «тот» зал, послушал и отправился к себе, за буфетную стойку. Тогда Кувалдин вынул из кармана какую-то книжечку и сказал:

– Ну, товарищи, начнем. Лиха беда – начало, а там пойдет легче, это я и на себе проверил.

Он развернул книжку и вполголоса прочитал:

– «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма».

Он читал, потом сам себе говорил: «Стоп!» – и принимался объяснять.

Из того, что он читал, я ничего не понимал, а из того, что он объяснял, я понял, что буржуазия – это не машина, а хозяйка всех этих людей; люди же эти – рабочие, а по-иностранному – пролетарии.

Отец опять вышел из-за буфетной стойки и пошел к нам. Рабочий, который сидел поближе к двери, негромко сказал:
– Майна!

Кувалдин спрятал книжку и опять стал читать про солдата. Отец походил по залу, послушал и пошел к себе. Тогда рабочий сказал:

– Вира!

Кувалдин отодвинул книжку про солдата и вынул свою.

Когда все разошлись, Витька потащил меня в угол и шепотом спросил:

– Ты знаешь, о чем они читали?

Мне не хотелось признаться, что я ничего не понял, и я сказал:

– Знаю.

– О чем?

– О призраке.

– О каком призраке?

– О привидении.

– Ну и дурак! Они о революции читали.

Что такое революция, я не знал, но мне в этом не хотелось

признаться. Витька сам объяснил:

– Это чтоб не было царя и чтоб всем людям одинаково хорошо жилось на свете, понял? – Он сделал страшные глаза и зашипел на меня: – Только скажи кому-нибудь, что они эту книжку читали, только скажи!

Но я уже и сам понимал, что говорить нельзя: разве купчиха Медведева или Прохоров, который нас с Витькой обругал хамским отродьем, захотят, чтобы все люди жили одинаково! Мне только было непонятно, почему и от отца надо скрывать: неужели отец тоже не хочет, чтоб все люди жили хорошо?

В следующий раз, когда Кувалдин опять попросил что-нибудь прочитать, отец дал ему «О вреде курения». Рабочие слушали, почему нельзя курить, и густо дымили табаком. Но вскоре Кувалдин вынул свою прежнюю книжку и принялся читать ее дальше. Он опять говорил: «Стоп!» – и объяснял малопонятное.

Отец был очень доволен, что в «том» зале наконец-то приохотились к чтению.

Приходил и инженер. То, что читал Кувалдин, ему не нравилось. Он принимался спорить. Рабочие были на стороне Кувалдина. Инженер сердился и опять говорил: «Демагогия! Сплошная демагогия!» А Кувалдин ему отвечал: «Мы в спорах с вами только зря время тратим. Так никогда не дочитаем».

Но книжку Кувалдин все-таки дочитал. И я на всю жизнь

запомнил, как грозно проговорил он последние слова. Слова были такие: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Мог ли я тогда думать, что скоро и сам прочту их! И где же!..

Приехала к нам мадам Прохорова, повертелась, покрутилась, потом и говорит:

– Нет, видно, капитан не заедет за мной. В городе неспокойно. Я так боюсь! Петр, голубчик, проводите меня.

Петр поехал с нею в санях, а когда вернулся, то рассказал отцу, что слышал от людей. На металлургическом заводе обожгло восемь рабочих. Их отправили в больницу. Доменщик Титов стал при всех ругать хозяев за то, что они поскупились и не обезопасили место, где работали эти люди. Пришли жандармы. Они хотели Титова арестовать. Но он не давался. Жандармы так его избили, что он через три дня умер в тюрьме. И вот теперь на завод послали целую роту солдат, потому что рабочие бунтуют.

Отец слушал, качал головой и говорил:

– Что делается!.. Что делается!..

А на другой день мы видели из окна, как хоронили этого Титова. Его несли недалеко от нашей чайной. За гробом шло много людей. Они шли не как попало, а в ногу, и пели жалобно и сердито, будто и плакали, и кому-то грозили. Я чувствовал, что от этого пения мне становилось трудно дышать, а в горле все щекотало и щекотало. И тут один мужчина поднял над головой красный флаг. На флаге было что-то

написано белыми печатными буквами, но что, я разобрать не мог, потому что флаг на ветру хлопал и заворачивался. На минуту флаг распрямился, и мы все прочитали:

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Я сейчас же вспомнил, где эти слова услышал первый раз. Вспомнил и чуть не вскрикнул, но вовремя удержался: ведь это тайна. Вдруг из-за угла показались солдаты. Впереди солдат шел сам Протопопов. Откуда-то прибежали городовые и бросились на человека с флагом. Они стали отнимать у него флаг, а он не давал. Протопопов выхватил шашку, страшно заворочал глазами и что-то закричал. Тогда солдаты выставили впереди себя штыки и пошли прямо на людей. А городовые набросились на человека с флагом, принялись его бить. Люди нагибались, хватали камни и бросали в городовых. Что-то так бахнуло, что зазвенели стекла. Отец потащил нас с Витей за шиворот от окна. А на улице кричали, топали.



Вдруг блок на двери взвизгнул, и в зал вбежал страшный человек: все лицо его было в крови, пальто в клочьях. Он пошатнулся и упал на каменный пол. Отец заметался, но потом подбежал к двери и запер ее на болт. Лицо у отца посерело, губы прыгали. Он схватился за голову и хрипло сказал:

– Пропал я теперь, пропал!

Подбежал Петр, взял человека на руки и понес через кухню во двор.

В дверь сильно застучали. Отец стоял около двери, дрожал, но не отпирал.

Петр вернулся, распахнул раму в окне и сказал:

– Откройте, Степан Сидорович, все равно дверь высадят.

Отец закричал:

– Кто там? Что надо?..

С улицы ответили:

– Полиция!

Отец перекрестился и снял болт. В зал ворвались с револьверами в руках околоточный надзиратель Гришин и двое городских. Гришин и раньше заглядывал к нам: чайная была в его околотке.

– Вы почему заперли дверь? – набросился он на отца.

Отец так и затанцевал вокруг него.

– От бунтовщиков, господин надзиратель, от бунтовщиков! Я не могу давать приют бунтовщикам, я общество трезвости... я лицо казенное... я отвечаю перед...

– Где бунтовщик? – грубо перебил отца околоточный.

– Вона!.. – засмеялся Петр и показал рукой на раскрытое окно. – Он так сиганул, что только его и видели! Я схватил было его за ногу, так у меня и башмак остался в руке. Вот, видите? – И Петр протянул Гришину ботинок.

– Возьми! – приказал Гришин городовому.

Когда полицейские ушли, Петр подмигнул отцу и сказал:

– Теперь они по башмаку будут его искать, а башмаки-то мне купчиха Медведева подарила.

Вечером пришел Кувалдин, отвел нас с Витей в сторонку и тихо спросил:

– Забегал к вам тот, что знамя нес? Пораненный? Где он?

– У нас, – шепотом сказал Витя. – На чердаке.

– Жив?

– Жив.

– Не говорите, ребятки, отцу, о чем я спрашивал, – предупредил Кувалдин и быстро ушел.

А потом пришли двое рабочих и шепотом повели с отцом разговор. Я слышал, как отец говорил:

– Да что вы! Я человек казенный, разве я мог бы!.. Никого у меня нет, что вы!.. – А под конец сказал: – Эх, пропадай моя головушка! Будь что будет, поверю вам. Идите, забирайте его. Только увозите незаметно! У меня жена, дети – что с ними станется в случае чего!..

Раненого одевали в нашей комнате. Из-под его рубашки выпал скомканный кусок красной материи. Один из рабочих поднял и развернул ее. Это был тот самый флаг с белыми

буквами, но весь изодранный, в рыжих пятнах крови. Рабочий аккуратно сложил его и засунул себе под пиджак.

«Ряженный»

В те дни я редко вспоминал о Дэзи. Но скоро наша чайная зажила прежней жизнью, и мне опять стала сниться эта девочка. Снилось она по-разному: то бегают на серебряных коньках-«снегурочках», вся розовая от мороза, и ветер треплет ее каштановые волосы; то скачет с испуганным лицом на огромной лошади, держится за гриву и все ниже и ниже клонится набок, вот-вот упадет на землю и убьется; то дерется на деревянных позолоченных шашках с карликом-путешественником, который сделал нам с Витей длинные брюки, и прокалывает ему насквозь грудь.

Каждое утро я копался в комодe, чтобы проверить, на месте ли книжка, которую я спрятал на самом дне нижнего ящика, под Машиными разноцветными лоскутками. Книжка была на месте, и я опять принимался думать, что сказать Дэзи, когда она придет к нам. Я скажу ей, что, хотя она меня обидела, я зла не помню и дарю ей самую лучшую на свете книгу. Или нет, я скажу ей, что шоколад едят только маленькие дети да девочки, а я шоколада вовсе не хочу. Читать книжки гораздо интереснее, чем жевать шоколад, хоть он и завернут в серебряную бумажку. Или нет, я ей ничего не скажу: я дам ей книжку и гордо отойду. Пусть она потом ест с Витькой шоколад, сколько хочет, – я даже смотреть не буду.

Так я готовился встретить Дэзи, но она почему-то все не

шла к нам, хотя мадам Прохорова стала приезжать в чайную все чаще и чаще.

Однажды отец спросил:

– Как поживает ваша прелестная наследница?

Мадам Прохорова прикрыла глаза и покачала печально головой. А когда опять открыла, то у меня стало необыкновенно тепло в груди: глаза у нее были такие же ласковые, как и у Дэзи. Она сказала:

– Ах, Степан Сидорович, я так скучаю по своей крошке! Вот уже месяц, как Дэзи гостит у бабушки в Одессе. Но скоро она опять будет со мной. Мы купили ей елку до самого потолка. Сегодня будем и наряжать.

Когда Прохорова уехала, я спросил:

– Петр, а как елку наряжают?

– Как наряжают? Богатые люди ставят ее на Рождество или на Новый год посередине зала и подвешивают на ветках разные блестящие игрушки.

– Зачем?

– Чтобы было красиво. Собираются дети, свои и чужие, танцуют около елки, песни поют, стишки читают. Потом расходятся. И каждому хозяева что-нибудь дарят: одному – куклу, другому – пистолет игрушечный, третьему – книжку с картинками. А бывает, что и сами дети рядятся: тот принцем, тот пастушком, тот турком.

– И Дэзину елку нарядят?

– Ну, это обязательно. Такие богачи – да пожалеют для

дочки игрушек!

Я хорошо знал, сколько остается дней до Нового года. Ведь на Новый год мама давала каждому из нас, детей, по стакану подсолнечных семечек, по стакану арбузных, по стакану тыквенных и по горсти фисташек. Кроме того, мы получали по пяти кисло-сладких барбарисовых конфет, по пяти мятных белых пряничков и по десятку крупных волоцких орехов. Уже за неделю до Нового года мы спрашивали: «Мама, сколько осталось дней?» – «Семь», – отвечала мама. «А где сейчас прянички с орешками?» – «О, еще далеко! Сейчас они на колокольне». Утром мы опять спрашивали: «А теперь сколько дней осталось?» – «Теперь шесть», – отвечала мама. «А сейчас где прянички с орешками?» – «Сейчас уже на мельнице, на крыше». С каждым днем наши гостинцы придвигались все ближе и ближе: вот они на верхушке старого тополя, вот на крыше нашего дома, вот они уже у нас в печной трубе, и, наконец, в ночь под Новый год они спускаются по трубе на печку. Мы, конечно, хорошо знали, что и семечки и орешки давно лежат в холщовых маминых мешочках на теплой печке, но как приятны были такие разговоры и как верилось, будто мешочки с гостинцами и в самом деле путешествуют в морозные скрипучие ночи по деревне, чтобы в конце концов спуститься к нам на печку. Теперь мы жили не в деревне, а в городе, но и здесь у нас с мамой были те же разговоры о гостинцах. И я знал, что до Нового года оставалось только три дня.

Три дня! Чего только за три дня не сможет человек передумать! Я то взбирался на крышу Дэзиного дома и спускал Дэзи «Каштанку» в трубу; то брал у турка-пекаря напрокат феску, приклеивал усы из Машиных кос и приходил с «Каштанкой» на елку к Дэзи; то переодевался в Машину юбку и кофту и приносил Дэзи книжку от имени мистера Жоржа, того самого таинственного незнакомца, который подобрал Каштанку.

Но пекарь-турок сказал, что феску давать неверным какой-то аллах не велит. Маша, когда я попробовал отрезать у нее ножницами кусок косы, больно шлепнула меня, а залезть на крышу прохоровского дома без лестницы, наверно, и кошка не сумела бы.

И вышло так, что, когда наступил Новый год, я ни во что не нарядился, а засунул книжку под рубашку, надел свое обтрепанное пальто, из которого еще в деревне вырос, и отправился к дому Прохоровой.

Целый час я стоял на другой стороне, в подворотне, и смотрел на дверь. Но ни в дом никто не входил, ни из дома никто не выходил. Я замерз и побежал в чайную. Там я пощелкал семечек, пососал барбарисовую конфетку и, когда стало темнеть, опять побежал к прохоровскому дому.

Что я увидел! В доме, прямо у окна, стояла зеленая елка и вся горела – столько на ней светилось огоньков. А между огоньками сияли голубые шары, качались разноцветные фонарики, сверкали серебряные звезды.

К дому все подъезжали и подъезжали богатые сани. Из них выходили взрослые с детьми, одетыми в меховые шубки или в гимназические серые шинели. И каждый раз, когда распахивалась дверь, на улицу вырывалась музыка, такая приятная, что хотелось петь и кружиться.

Но музыка музыкой, а мороз морозом: у меня опять начали стучать зубы. Тут к дому подъехали еще сани и из них вышла нарядная женщина и гимназисты. Тогда я перебежал мостовую и, сам себя не помня, вошел в клубах пара в распахнутую дверь вместе с гимназистами.

Вслед за ними я поднялся по знакомой уже мне белой лестнице и остановился на площадке. Швейцар с раздвоенной бородой и в длиннополом сюртуке с золочеными полосками на рукавах снимал с гимназистов шинели. Он взглянул на меня и строго сказал:

– Эт-та что такое?

Гимназисты засмеялись и все вместе ответили:

– Да это же ряженный!

Двухбородый тоже засмеялся, поклонился мне и открыл перед всеми нами дверь.

Я не успел даже подумать, почему они называли меня ряженным, как оказался в той самой комнате, откуда нас с Витькой выгнал тощий старикашка. Только теперь в этой комнате было полно детей. Они держались за руки и танцевали вокруг елки, а мадам Прохорова, одетая в черное бархатное платье с блестящей брошкой на груди, водила рукой по воздуху и ко-

мандовала: «Два шага направо, два шага налево, шаг вперед, шаг назад!» Потом музыка переменялась, и мадам Прохорова весело запела: «Пойдем, пойдем поскорее, пойдем польку танцевать, в этом танце я смелее про любовь могу сказать!» Дети попарно обнялись, закружились и затопали ногами.

Я притаился за деревом, что росло из кадки, и смотрел. Девочки были в нарядных платьях, с бантами в волосах, но я ни одной из них не запомнил, я видел только Дэзи. Она стала еще красивее. В ее каштановых волосах, когда она кружилась, вспыхивали и гасли искорки, а глаза были большие и ласковые.

Музыка умолкла. Длинный гимназист, с которым Дэзи кружилась, хлопнул в ладоши и спросил:

– Благородные рыцари и прекрасные дамы, кого вы избираете королевой бала?

Все закричали:

– Дэзи! Дэзи!



Длинный встал на стул, снял с елки золотую корону, в какой рисуют на портретах царицу, и надел ее на голову Дэзи, а сам опустился на одно колено и поцеловал край Дэзиного белого платья. Все захлопали в ладоши и усадили Дэзи в высокое бархатное кресло.

В комнату прибежал другой гимназист, с лошадиной го-

ловой и хвостом. Он прыгал перед Дэзи, брыкался и ржал, а Дэзи хохотала. Гимназист-конь ускакал, вместо него на четвереньках приплелся гимназист с медвежьей головой и начал на Дэзи реветь. Дэзи сняла с елки апельсин и сунула ему в пасть.

Потом приходили еще другие звери и птицы, и Дэзи всех чем-нибудь угощала.

Когда больше не стало ни зверей, ни птиц, гимназисты, с которыми я поднимался по лестнице, закричали:

– А тут еще есть ряженный! А тут еще есть ряженный! Вон он за пальмой прячется! Он нищим нарядился!

Я закрыл лицо руками.

А гимназисты и девочки кричали:

– Это Сережа Кузьмин! Нет, это Женя Мелиареси! Ну, выходи, Женя, проси у Дэзи милостыню!

Мне хотелось залезть под диван, сжаться, но я пересилил себя: не отрывая одной руки от лица, я другой вытащил из-под рубашки книгу и положил ее Дэзи на колени. Я сказал:

– Дэзи, мистер Жорж прислал тебе «Каштанку». Не давай мне ни шоколада, ни апельсина, а только помни меня!

И выбежал из комнаты.

Дома я незаметно проскользнул в нашу комнату и лег в постель. От обиды мне хотелось плакать. И в то же время я весь горел от радости: ведь «Каштанку» я все-таки Дэзи подарил!

Проснувшись ночью, я услышал в темноте, как мама го-

ворила:

– Ты его хоть ради праздника не бей. В нем и так еле душа держится.

Отец ответил:

– Я его не просто бью, а наказываю. Ты хочешь, чтобы он стал таким же бродягой, как те, что жмутся у нас в чайной? Безобразие! То днем где-то шлялся, а теперь уже и по ночам пропадать начал.

Я понял, что разговор шел обо мне и что завтра отец опять меня побьет, но страха я не почувствовал: мне по-прежнему было радостно, и я скоро заснул.

Цирк

Утром отец поставил меня на колени, драл за уши, бил по щекам. Потом долго ходил по комнате и что-то мне «внушал», из чего я не запомнил ни одного слова. Под конец он приказал мне попросить прощения и протянул руку, чтобы я ее поцеловал, но я руки не поцеловал, а встал без разрешения с колен и пошел из комнаты. Отец так удивился, что даже не остановил меня.

Весь день у меня горели уши, и я все думал, не убежать ли из дому. Может быть, меня примут к себе бабка с Зойкой. Я им воровал бы на базаре у торговок яйца или что попадетсЯ, и тем бы мы кормились. Осенью я видел мальчишек, которые продавали в клетках щеглов. Наловят сетками и продают. И я бы ловил щеглов и продавал. И еще мальчишки продают бычков, нанизанных на веревочки. Бычков они ловят в море удочкой. Я тоже куплю удочку и буду ловить рыбу. Я буду ходить куда захочу, а тут отец сажает меня за буфетную стойку и уходит по делам. Я сижу и сижу на табуретке и не смею ни на минутку отлучиться.

К вечеру, когда уши гореть перестали, верх взяло другое чувство – жалость к маме. Как она будет горевать, если я убегу из дому!

Отец ходил хмурый. Он о чем-то думал. Иногда он взглядывал на меня и тотчас же отводил глаза. Когда стемнело,

отец вдруг сказал:

– Петр, закрывай чайную, ну ее к черту! Из-за этой чайной света божьего не видим! Дети, одевайтесь! К нам цирк приехал.

– Вот так-то лучше, Степан Сидорович! – живо отозвался Петр. Он в два счета выпроводил босяков и запер дверь.

– И ты с нами, – кивнул ему отец.

– Я? – Лицо у Петра почему-то стало темное. Но потом он сказал: – Ладно, пойду и я.

Когда все оделись, отец оглядел наши пальтишки и вздохнул: они были те самые, которые шила еще в Матвеевке деревенская портниха, – из дешевой бумажной материи, с кургузыми воротниками, да к тому же изрядно потрепанные. В городе таких и не увидишь.

Мы шли по скрипучему снегу и терли уши; мороз был такой, что перехватывало дыхание, а тут еще ветер. Чем ближе мы подходили к Персидской улице, за которой открывалось море, тем дуло злее. Я потянул Петра за рукав и, когда он ко мне наклонился, спросил:

– Цирк – это что? Это где Каштанка нашла своих хозяев?

– Не тот самый, но такой же. Да вот увидишь, – ответил Петр.

Все дворы на Персидской улице были темные, но один двор – мы увидели его еще издали – весь так и светился. Свет поднимался к самому небу. Ворота во дворе были распахнуты. Посредине двора стояла серая круглая махина, обклеен-

ная красными, желтыми, зелеными картинками. На картинках вздыбливалась лошадь, танцевала красивая женщина и летел вниз головой человек с рогами, похожий на черта.

– Опоздали! – сказал отец с досадой. – Уже начали. – Он сунул в окошко деньги. – Четыре билета на галерку – два взрослых и два детских.

Схватив билеты, отец подбежал к двери и толкнул ее. Мы затопали куда-то вверх по деревянной лестнице.

И я увидел то, что увидела и Каштанка, когда выскочила из чемодана мистера Жоржа: ослепительный свет и всюду лица, лица, лица. Петр поднял меня и посадил на деревянную перегородку. По эту сторону перегородки стояли, а по ту – сидели. Потом Петр посадил рядом со мной Витю.

Все люди смотрели вверх. Там, на страшной высоте, раскачивалась на перекладине какая-то женщина в голубом с блестками платье. Перекладина, похожая на мамину каталку, висела на двух толстых красных шнурах. Женщина встала на нее во весь рост, даже не взявшись руками за шнуры. Я от страха перестал дышать. Вдруг где-то забарабанило, да так жутко, что у меня пробежали по спине мурашки. Мужчина, который стоял посередине круга и натягивал длинный канат, крикнул:

– Алле!..

Женщина бросилась вниз головой. И все ахнули.

Но женщина не упала, а быстро-быстро закружилась на каталке то головой вниз, то головой вверх. И, пока она кру-

жились, где-то все барабанило и барабанило. Люди волновались:

– Довольно! Довольно!

Отец тоже крикнул:

– Довольно!

Женщина схватилась за канат и по канату спустилась вниз. И тут все так захлопали, так заревели, что я даже не мог разобрать, что мне говорил отец.

Женщина убежала, а вместо нее на круг с опилками вышел смешной человек: рот у него растянулся до ушей, а нос поднялся выше лба. На одной ноге у него была штанина из розового ситца с зелеными цветами, а на другой – с красными. Он споткнулся, упал и заревел. Все засмеялись, и я тоже, но Витька на меня зашипел, хоть перед этим и сам смеялся. Вот всегда так!..

– Это шут, – сказал отец. – Он будет все время смешить.

И правда, на круг выбегали то фокусники, то попрыгунчики, то танцовщицы, а шут уйдет и опять вернется, да такое отколет, что все расхохочутся.

Раз шут вздумал поиграть в мяч. Он бросал надутый бычий пузырь в публику, а из публики тот пузырь бросали ему обратно. Вот он поймал пузырь и стал целиться в одного господина. Прицеливался, прицеливался, потом сразу повернулся в другую сторону и кинул пузырь какой-то девочке в котиковой шапочке. Девочка ловко поймала мяч, но он у нее в руках лопнул. Она испугалась и брыкнулась со ска-

мый вверх ногами. Потом вскочила да как запустит в шута калошей! Шут – бежать! И когда бежал, с него упали штаны. Вот смеху было! Я тоже смеялся, но потом сразу перестал. Не из страха, что Витька на меня зашипит, а потому, что девочка, когда она с досады то снимала, то надевала свою шапочку, показалась мне страшно похожей на Зойку. «Неужели это Зойка?» – подумал я. Но как могла Зойка попасть в первый ряд, где сидели важные господа и барыни? Конечно, Зойка всюду пролезет, только откуда у нее могла взяться такая хорошая шуба и котиковая шапочка? На круг выбежала лошадь. Она танцевала и кланялась, подгибая передние ноги. Когда ее увели и я хотел опять посмотреть на девочку, на том месте было уже пусто.

Перед самым концом представления на круге опять появился шут. Он сорвал рыжий парик и длинный нос, стер платком краску с лица и превратился в обыкновенного человека.

– Почтенная публика, – заговорил он, – господа и дамы, молодые люди и барышни, слесари и молотобойцы, горничные и парикмахеры, кухарки и пожарники! Поздравляю всех вас с Новым годом. А будет ли счастье – бабушка надвое сказала.

Под хмельком и с опозданием
К нам приплелся Новый год.
Что за божье наказание!
Все у нас наоборот.

За границей школы строят,
Там дают прогрессу ход,
А у нас... могилы роют —
Все у нас наоборот.

Там для мыслей есть свобода,
Тут открыть попробуй рот!
Словом, старая тут мода,
Словом: все наоборот.

Он все говорил и говорил, и как только доходил до слова «наоборот», сейчас же на галерке принимались хлопать.

– Ночевать ему сегодня в участке, – сказал Петр.

– Уж это как водится! – отозвалось сразу несколько голов.

Мы вернулись домой, разделись и легли спать. Я уже совсем засыпал, когда услышал разговор. Отец сказал:

– Надо бы детям шубы новые купить, ходят как нищие. Только дорого. Где столько денег взять?

– А золотые Хрюкова? – ответила мама. – Чего их держать?

– Те я хотел про черный день приберечь. А вдруг прогонят... Даже не на что будет квартиру снять.

Сон все плотнее обволакивал меня, и все в голове мешалось: скрипучий снег на черной от ночи улице, вороная красавица лошадь на задних ногах, шут в широченных ситце-

вых штанах, Зойка в котиковой шапочке... и моя новая шуба с меховым воротником... А утро, когда отец драл меня за уши, теперь казалось мне далеким-далеким, будто было это год назад...

Новые шубы

Весь следующий день мы с Витей не переставали говорить о цирке. Самое нарядное и интересное зрелище, какое нам до сих пор приходилось видеть, это была карусель с лошадками, каретами и фонариками, увешанными разноцветными бусами. Когда я смотрел, как она крутится под визгливые звуки шарманки, у меня был праздник на душе, но с тем, что мы увидели вчера, карусель ни в какое сравнение не шла. Витька даже забыл пыжиться передо мной и прыскал, когда вспоминал разные штучки шута.

– Ну, цирк! – говорил и отец, необыкновенно почему-то подобревший. – На такой высоте кружиться – ужас что такое!

Но, хоть у нас не было другого разговора, кроме как о цирке, я нет-нет да и вспоминал, что отец говорил ночью маме. Приснилось это мне или не приснилось? Наверно, приснилось. И приснилось потому, что гимназисты приняли меня за наряженного нищим.

Когда наступил вечер, отец сказал:

– Дети, пойдете на Петропавловскую улицу. Хватит вам ходить обшарпанными. Что вы, хуже всех?

– Не приснилось, не приснилось! – радостно закричал я, так что Витька даже посмотрел на меня, как на дурачка.

На этот раз с нами пошла и Маша, у которой пальто было ничуть не лучше, чем у нас.

Я никогда раньше не видел Петропавловскую вечером. По обе стороны улицы горели на чугунных столбах газовые фонари, а вокруг фонарей мелькали снежинки. Окна тоже светились, и за стеклами лежали, стояли, висели такие диковинки, что у нас глаза разбежались. А по улице все шли и шли люди – одни в меховых шубах и шапках, другие в черных шинелях с золотыми пуговицами и в фуражках с золотыми гербами, третьи, как наш Протопопов, в светло-серых шинелях, с шашками на боку и золотыми погонями на плечах.

Вот и окно с волком и медведем за стеклом. Отец смело потянул за медную ручку. Перед нами раскрылась огромная застекленная дверь. В магазине было светло, тепло и так чисто, будто вот только сейчас все там вымыли и натерли до блеска. Мы как вошли, так и остановились у двери. За прилавками стояли приказчики в черных пиджаках и накрахмаленных манишках с галстуками. Один из приказчиков, с железным аршином в руке, закивал нам головой и сказал как давно знакомым:

– Пожалуйте сюда-с. С Новым годом. Мальчик, стулья!

Мальчишка ростом с Витю, тоже в пиджаке и галстуке, притащил нам стулья, и мы все сели. Отец сказал:

– Что ж, примерим детям шубки, что ли?

Приказчик поклонился.

– Имеются. Как раз на этот рост. Прикажете бобриковые?

– Зачем же бобриковые, – будто даже с обидой сказал отец. – Дети не хуже других.

– Прекрасные дети! – воскликнул приказчик и даже за-
жмурился от удовольствия. – Как только вы вошли, я сейчас
же подумал: «Какие чудесные дети!» Прикажете драповые с
котиковым воротником? Только вчера из мастерской.

– Драповые так драповые, – ответил отец.

Приказчик сразу завладел всеми нами. Он надевал на нас
шубы, застегивал их на все пуговицы, оттягивал полы и ру-
кава книзу, нежно проводил ладонью по спине, потом сни-
мал, надевал другие, опять застегивал, опять оттягивал и по-
глаживал и, наконец, сказал:

– Чудесно! Прямо как по заказу. Даже с маленьким по-
ходом на вырост. Вот только на барышне рукава чуть-чуть
длинноваты. Но это дело пяти минут. Посидите.

Он исчез, а немного спустя опять появился, надел на Ма-
шу шубу, отскочил от нее, будто обжегся, вскинул вверх ру-
ки и сказал, не веря своим глазам:

– Это же превосходно!

Нас подвели к огромному зеркалу, и мы робко оглядели
себя. На мне и Вите шубы были черные с котиковыми ворот-
никами, на Маше – шуба коричневая и тоже с меховым во-
ротником. Я, конечно, понимал, что к новой шубе не очень-
то подходили бумажные помятые брюки и рыжие заплатан-
ные башмаки. Но шуба – это важнее всего другого, и я был
счастлив.

Приказчик ловко завернул в хрустящую бумагу наши ста-
рые пальтишки, перевязал шнурочком, к шнурочку прила-

дил деревянную ручку и с поклоном вручил все отцу.

Когда мы вышли на улицу, отец перекрестился.

– Царство небесное покойному Хрюкову! Будем вспоминать его добрым словом. Пусть ему на том свете икается на здоровье. – Он вытащил из кармана мелочь, немножко подумал и лихо крикнул: – Эх, куда ни шло! Извозчик!..

Отец и Маша расположились на сиденье, а мы с Витей у них на коленях. Извозчик стегнул лошадь, бубенчик на дуге звякнул, и сани понеслись по главной улице мимо газовых фонарей, мимо светлых окон с диковинками, мимо бар в шубах и господ в шинелях с золотыми пуговками.

Когда на Маше примеряли в магазине шубу, она не проронила ни слова. Лицо у нее было как каменное. И в санях она тоже молчала. Но когда мы вернулись домой и она сняла свою шубу, то вдруг заплакала и поцеловала ее. Позже она рассказывала, что все время не верила в такое счастье и поверила только тогда, когда повесила наконец шубу дома на гвоздик.

Болезнь

Мне теперь еще больше хотелось, чтобы мадам Прохорова опять пришла к нам с Дэзи. Я бы сделал вид, что куда-нибудь ухожу, и надел бы свою новую шубу. Надел бы и походил по залу на глазах у Дэзи. Конечно, я не гимназист, но шуба моя такая же, в каких ходят и Дэзины товарищи.

И еще мне хотелось сбегать в железнодорожную будку и узнать, Зойка то была в цирке или не Зойка. Если правда, что Зойка, то пусть и она увидит меня в городской шубе, а то ишь как разрядилась! А если то была не Зойка? Если Зойка по-прежнему лежит больная? Конечно же, надо сбегать к ней в будку и отнести сахару и осьмушку чаю. Но как, как? Ведь я опять целыми днями сижу за буфетной стойкой. Нас с Витей отец не выпускает из чайной – зачем же нам тогда новые шубы? И никаких у нас с Витей нет товарищей. Когда к нам пришел лопоухий Петька, сын бакалейного лавочника, и мы начали играть во дворе в прятки, отец выпроводил его, а нам с Витей сказал: «Товарищи до добра никогда не доводят!»

И вдруг мне повезло. Пришел один толстый дядька, сел на табуретку, а табуретка под ним закрипела и развалилась. Отец сказал:

– Опять расшатались. Сбегай-ка завтра, Митя, к столяру, пусть переберет все табуретки.

К столяру! Ведь это туда, где Зойкина будка.

Вечером я незаметно взял из буфета пачечку чаю и десять кусочков сахара. Чай положил в один карман шубы, а сахар в другой. И заснул в этот вечер с таким чувством, будто завтра будет праздник.

Проснулся я от какого-то шума. Открыл глаза и увидел, что у Машиной постели стоит отец в одном белье и держит в руке лампу, а мама, тоже полуодетая, наклонилась над постелью и спрашивает:

– Маша, Маша, что с тобой? Тебе холодно, да?

Маша стучала зубами и все просила:

– Мама, мамочка, укрой меня, укрой меня!..

До самого утра никто больше не спал.

Утром Маша уже не просила укрыть ее, а сбрасывала одеяло и жаловалась:

– Жарко!.. Ах, как мне жарко!..

Отец пошел за доктором. Маша все металась и металась, а отец не возвращался. Наконец подъехали извозчицьи сани. Из них вышли отец и мужчина в дорогом пальто и меховой шапке. В комнате отец бросился снимать с доктора пальто и затанцевал так, как танцевал перед Протопоповым. Доктор вынул из кармана черную трубочку. Он приложил ее одним концом к своему уху, а другим к Машиной груди. В это время мама рылась в ящиках комода и искала новое полотенце. Полотенца она так и не нашла, а вместо полотенца вытащила чистую наволочку. Доктор вымыл с мылом руки. Мама подала ему наволочку и сказала:

– Извините, доктор.

Но доктор не рассердился.

– Ничего, ничего. – И вытер руки наволочкой.

За это мне он очень понравился.

Когда доктор уходил, отец положил ему в руку серебряный рубль. Но доктор рубль вернул отцу обратно и сказал:

– Нет, не надо. Заплатите только извозчику.

С тех пор доктор приезжал к нам через день, и отец каждый раз выносил извозчику по полтиннику. А о докторе говорил:

– Чудный, чудный человек! Святой!

Отец всегда так: об одном он говорит: «Чудный! Святой!» – а о другом: «Подлец! Мерзавец!» А часто бывало, что об одном и том же человеке он сегодня говорит – «святой», а завтра – «мерзавец». Но наш доктор, как потом я понял, был и не святой, и не мерзавец, а самый обыкновенный доктор, рубль же он не взял потому, что был доктором для бедных и ему мещанская управа платила жалованье. Лет пять спустя, когда заболел я, его опять позвали к нам. Тогда он уже в мещанской больнице не служил и рубль положил в карман.

Маша все болела и болела, и к столяру отец меня не посылал, а посылал в аптеку. Потом Маше стало лучше. Отец сказал:

– Ну, завтра пойдешь к столяру.

Но мне идти к Зойке уже не хотелось. И вообще мне ничего не хотелось. Когда я сидел за буфетной стойкой, мне

хотелось только одного: положить руки на стойку, а голову на руки и закрыть глаза. Ночью меня стало трясти, потом бросило в жар, и все у меня в голове перепуталось. Пришел Петр, взял меня на руки и понес. Он отнес меня в «тот» зал. Там босяков уже не было. Стояли почему-то две кровати. На одной кровати лежала Маша, а на другую Петр положил меня. Маша приподнялась и через спинку кровати с жалостью смотрела на меня. А мне от этих жалостливых глаз стало еще хуже, и я сказал:

– Не смотри на меня!..

Приехал доктор, приставил мне к груди свою черную трубочку, а на другой ее конец налег головой. Голова у него была большая, и трубка больно давила мне грудь. И вообще все у меня болело, особенно голова и глаза. Доктор сунул мне под мышку градусник, потом вынул, посмотрел и нахмурился.

Когда он ушел, мама намочила салфетку в уксусе и положила мне на голову. Но салфетка сейчас же высохла. И сколько мама ни мочила ее, она все высыхала и высыхала. Под потолком на стене расплылось зеленое пятно. Я знал, что это плесень, но мне стало казаться, что это не плесень, а море. Я прыгал в него, окунался с головой, глотал воду – и мне делалось легче. Но море опять превращалось в плесень на стене, и я так метался и стонал, что мама становилась на колени перед иконой, крестилась и стучалась лбом о каменный пол. Приходил Петр. Он брал меня на руки и носил по залу. На руках я затихал. Петр клал меня на кровать, я засы-

пал, но потом опять начинал метаться.

Однажды, проснувшись, я не почувствовал ни жара, ни боли. Напротив, мне было необыкновенно хорошо и очень хотелось есть. Мама накрошила в стакан с молоком полбублика, я вынимал ложечкой размякшие кусочки и ел с таким удовольствием, с каким до этого никогда и ничего не ел. Я опять заснул. А когда проснулся, то увидел, что мама склонилась над Машей, а Маша мечется и стонет.

Ночью у Маши пошла из носа кровь. Машу приподняли, а на колени ей поставили чашку. Кровь все капала и капала, и лицо у Маши сделалось белей стены. Мама кричала: «Маша!.. Маша!..» – но Маша больше не открывала глаз, и голова ее упала на плечо.

Вдруг забарабанили в дверь. Отец бросился открывать. Это Петр привез доктора. Доктор был без галстука, из-под пиджака выглядывала белая ночная сорочка. Он раскрыл кожаную сумку и быстро стал вынимать из нее узкие желтые полоски марли и разные щипчики.

Когда доктор уходил домой, Маша лежала как мертвая, но кровь у нее больше не шла.

Через несколько дней Маше стало лучше, а меня опять бросило в жар. Доктор сказал, что у нас возвратный тиф.

...Наконец мы поднялись с постели. На дворе была уже весна. От слабости мы шатались. Мама надела на нас шубы и вывела во двор подышать свежим воздухом. Я опустил руки в карманы и нащупал там кусочки сахару и пачку чаю.

«Из искры возгорится пламя»

Маленький дворик при чайной был завален всякой рухлядью: гнилыми бревнами, угольной золой, черепками от разбитых чайников, поломанными табуретками. Но между камнями поднимались вверх бледно-зеленые острые травинки, на крыше озорничали воробьи, солнышко ласково грело лицо, и от всего этого мне было необыкновенно радостно.

Пока мы с Машей болели, Витю к нам не подпускали, чтобы не заболел и он. Теперь Витя сидел во дворике рядом со мной, на бревне, не пыжился, а смотрел добрыми глазами. Наверно, он соскучился по мне, и ему было жалко меня. Он рассказывал мне о Робинзоне Крузо, который попал на необитаемый остров и прожил там много лет, о рыцарских турнирах, о храбром и благородном Айвенго (чайная была долго закрыта, и Витя мог читать книги, сколько хотел). Видно было, что он старался развеселить меня, позабавить и нарочно придумывал разные интересные истории. Так, он рассказывал, что ходил с Петькой к морю и нырял там. Будто прыгнет в воду и идет ко дну долго-долго, потом ударится ногами о дно и поднимается обратно наверх. А в воде видит, как плавают рыбы и разные чудовища. Одно чудовище даже погналось за ним, но он успел выскочить на берег. Я догадывался, что он все это сочиняет: ведь весна только началась, и вода в море была еще холодная. Но мне так хотелось попасть

и на необитаемый остров, и на рыцарский турнир, и на морское дно с рыбами и чудовищами, что я выслушивал все, как настоящую правду.

– Вот видишь? – Витя вынул из кармана и показал подсолнечные семечки. – Давай выкопаем ямку и посадим семечко, а летом здесь вырастет подсолнух.

– Давай, давай! – с радостью откликнулся я.

– Давай купим синей бумаги, склеим змея и запустим его высоко-высоко. А к хвосту привяжем разноцветный фонарик со свечкой. Ночью он будет светить в небе, и никто не догадается, что это такое.

– Давай, давай! – подхватывал я, весь дрожа от нетерпения. – А еще можно ежа завести. Или лисичку. Вот если бы лисичку! Мы б с ней ходили гулять по городу, и все на нас смотрели б!

Но змея мы не запустили и ежа не завели. Через несколько дней опять открылась чайная, и отец всех расставил по своим местам: Витя пошел в «тот» зал следить, чтоб босяки не рвали на сигарки газеты и книги, Маша застучала посудой в эмалированной чашке, а я сел за буфетную стойку. Когда за буфет становился отец, я отправлялся на кухню помогать Маше мыть посуду или тоже шел в «тот» зал.

С весной наших обычных посетителей – нищих, бродяг, попрошайек – стало показываться все меньше и меньше: они двинулись с юга на север. Зато прибавилось рабочих. Сходились они к вечеру. Человека три-четыре оставалось в «этом»

зале, остальные проходили в «тот» зал и заказывали чай. Кувалдин просил у отца книжечку поинтересней, но мы-то с Витей знали, что читал он не эти книжки, а те, которые приносил с собой. Только одну книжечку, выданную отцом, он прочитал от начала до конца: это была «Сказка о попе и о работнике его Балде». Когда он дошел до слов попа:

Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник,
А где мне найти такого
Служителя не слишком дорогого? —

все засмеялись. Кувалдин тоже смеялся. Но потом сказал с большим уважением:

– Написал эту сказку наш великий писатель Александр Сергеевич Пушкин. Любил он простой народ всем сердцем и отдал ему свой драгоценный дар. Народ его тоже любит и будет любить вечно.

– Это правильно, – сказал отец и, очень довольный, пошел из «того» зала к себе, за буфет.

А Кувалдин продолжал:

– Написал он и стихи декабристам, о которых я вам рассказывал раньше, а декабристы из Сибири ему ответили:

Наш скорбный труд не пропадет;
Из искры возгорится пламя.

Поэтому наша газета и называется – «Искра». Вот она. – Он оглянулся, вынул из пиджачного кармана что-то, похожее больше на тоненькую книжечку, чем на газету, и положил на стол. Все наклонились и принялись рассматривать. Печать была мелкая, и только одно слово крупное: «ИСКРА». – Сейчас мы ее прочитаем. Слушайте, на ус мотайте да на дверь поглядывайте.

Он читал и объяснял. Прочтет немножко, объяснит и опять читает. А чаще сами рабочие останавливали его. Особенно один, похожий на цыгана – с черными глазами и черными усами. Он все спрашивал: «А это ж почему? А это ж как понимать?»

Хотя Кувалдин все объяснял, а некоторые места читал по два и три раза, я по-прежнему ничего не понимал. Да, наверно, и Витя понимал плохо и только делал вид, будто заранее знает, что скажет Кувалдин.

Иногда приходил инженер Коршунов и приводил с собой двух или трех приятелей, таких же бородатых, как и он сам. Тогда в «том» зале начинался спор. Инженер стучал костяшками пальцев по столу и сердито говорил:

– Одна бомбочка, брошенная в подлеца директора, осветила б народу умы в сто раз лучше, чем все эти ваши шествия с красными флагами.

А Кувалдин отвечал:

– Вы тащите на свет божий старую ветошь. Вы ничему не научились.

И опять я не понимал: как мог Коршунов ничему не научиться, если отец говорил, что инженер – человек ученый? Теперь Коршунов заведовал гвоздильным заводом, и, хоть сам говорил, что это не завод, а балалайка, отец стал его еще больше уважать.

Поспорив, инженер с грохотом отбрасывал ногой табуретку и уходил. За ним шли его бородатые приятели.

Кувалдин говорил:

– Болотные люди. Только зря с ними время тратишь. – И опять вытаскивал свою книжечку-газету.

Когда в чайную приходил бродяга или кто другой, рабочие, которые чаевничали в «этом» зале, приглашали такого человека за свой стол, чтоб не допустить в «тот» зал. А если появлялась дама-патронесса или заглядывал околоточный, то рабочий, сидевший ближе к двери другого зала, говорил: «Майна!» – и маленькая газета исчезала, как по волшебству. Вместо нее Кувалдин раскрывал книжку «Как верная жена умерла на гробе своего мужа». Околоточный послушает и уйдет, дама-патронесса повернется, покрутится и уедет.

Бегство

Все случилось как-то сразу. Когда я потом, спустя годы, вспоминал об этом, мне делалось и страшно, и горько, и смешно.

С некоторых пор к нам по вечерам стал заходить новый босяк. Прежде чем открыть в чайную дверь, он долго смотрел в окна и почесывался. А войдя, вздыхал, жался и сторонкой, сторонкой пробирался в «тот» зал. Но до «того» зала он редко добирался: его перехватывали рабочие в «этом» зале и угощали. Щеки и подбородок босяка были в серой щетине, а глаза маленькие, мутные, без ресниц.

Однажды, когда босяк сидел с рабочими и прихлебывал из блюдца чай, дверь с визгом распахнулась, и вошли трое здоровенных усатых мужчин. Стуча сапогами о каменные плиты пола, они быстро прошли в «тот» зал. Босяк засеменял к Петру и медовым голосом сказал:

– Стань, милый человек, к двери и никого не выпускай.

– Это что за номер? – уставился на него Петр.

Голос у босяка сразу изменился.

– А ты делай, что приказывает надлежащее начальство! – прошипел он Петру в лицо.

От такой неожиданной перемены Петр опешил и стал у двери.

В «том» зале зашумели, закричали, затарахтели табурет-

ками. Вслед за тем оттуда выбежал Кувалдин и бросился к двери. Усатые кинулись за ним, но рабочие повисли у них на плечах и не пускали. Увидя, что у дверей стоит Петр, Кувалдин повернул в сторону, к окну, и рванул шпингалет. Короткой заминки оказалось достаточно, чтобы усатые вцепились в Кувалдина. Петр взревел и бросился на усатых. Те направили на него револьверы.

Когда Кувалдина увели, Петр ударил себя кулаком по голове и застонал. Некоторое время он неподвижно сидел на табуретке, потом встал и медленно пошел из чайной.

Вернулся он только на другой день, сильно пьяный. Сжимал ладонями виски и все повторял:

– Подлец я, подлец!.. Нету мне прощения!..

Отец его не слушал; он ходил из зала в нашу комнату, из комнаты в зал и шептал:

– Теперь меня выгонят... Теперь наверняка выгонят...

Весть о том, что Петр запил, облетела всех дам-патронесс. Они съехались в чайную, столпились около Петра и принялись его уговаривать:

– Петр, голубчик, ну что же ты расстраиваешься! Возьми себя в руки, успокойся!

Толстенная мадам Медведева сладко заговорила:

– Не надо, милый, не надо. Ведь ничего не случилось. Ну, арестовали беглого каторжника, так это ж был социалист, он против царя и бога шел. Ну, хочешь, будешь у меня кучером работать. Да что кучером! Я тебя старшим приказчиком в

гастрономическом магазине сделаю!

Петр оглядывал дам безумными глазами. Вдруг лицо его исказилось. С выражением отвращения он взял со стола мокрую тряпку, которой я стирал с клеенок присохшие крошки, и мазнул купчиху по лицу от лба до третьего подбородка. Дамы бросились врассыпную. А Медведева до того обалдела, что стояла и шлепала губами. Дамы сначала перепугались, а потом начали хихикать. Босяки заржали. Я тоже засмеялся. Медведева опомнилась да как закричит:

– В полицию! В полицию его, подлеца!.. А ты чего смеешься, щенок паршивый?! – накинута она на меня. – Всех разгоню! Чтоб духу тут вашего не было!..

Отец схватился за голову. Я от страха вылетел на улицу и побежал куда глаза глядят.

Бежал, бежал, бежал, пока не оказался перед Зойкиной будкой. Я дернул дверь. Бабка сидела за столом и пила из чашки чай. Она смотрела на меня и не узнавала. Вдруг лицо ее сморщилось, по щекам поползли слезы.

– А Зойка где? – спросил я.

– Нету Зойки, нету, – забормотала она. – Увезли нашу Зойчку, увезли... Цирк увез, чтоб он сгорел, проклятый!..

– Зачем? – не понял я.

Бабка рассердилась:

– «Зачем, зачем»? Не знаешь, что ли? В акробатки пошла, в попрыгуночки. Будут ей теперь ручки-ножки выкручивать.

Она опять заплакала. А поплакав, спросила:

– Чаю хочешь?

Я чаю не хотел. Какой чай, когда, может, жизнь моя кончается! Из-за меня отца, наверно, уже прогнали. Если я вернусь, он меня избьет до смерти. А если еще не успели прогнать, то он избьет меня в угоду купчихе, чтобы та не выгоняла его. Как ни поверни, все равно я буду избит. А после болезни я еще больше ослабел и, наверно, умру, когда он будет бить меня. Куда же мне деваться? Счастливая Зойка! Пусть ей выкручивают руки-ноги, а все-таки она не умрет. Ей даже публика будет хлопать в ладоши. Вот и мне бы туда, в цирк, кувыркаться вместе с Зойкой.

– Бабушка, а куда он уехал, цирк этот? – спросил я.

– Кабы знать! – ответила бабка. – Уехал – и все. Разве мне докладывают!

Тогда я рассказал, что со мной случилось.

Бабка выслушала и покачала головой.

– Вот уж и не знаю, что тебе посоветовать. Переночуй на Зоичкином топчане, а утром, может, и придумаем что.

Ночь я провел так, будто опять заболел тифом. Меня то знобило, то бросало в жар. А тут еще с грохотом пробежали мимо поезда. Особенно меня донимала мысль, как страдает сейчас мама. Может, она думает, что я утопился или бросился под поезд.

Обессиленный, я так крепко заснул перед рассветом, что открыл глаза только тогда, когда будку заливало солнцем. Мне стало страшно: неужели я всю ночь провел не дома?

Бабка дала мне бублик, напоила чаем и сказала:

– Иди домой. Лучше дома ничего на свете нет. Авось обойдется.

От бабушкиных слов у меня на душе стало спокойнее, я пошел.

Может быть, я так бы и вернулся домой и все бы, как говорила бабка, обошлось, но еще издали я увидел, что к чайной подъехал экипаж и из него вышли Медведева и сам городской голова, тот важный господин, который был у нас на молебне. Что угодно, только не попадаться на глаза купчихе! А городского голову она, конечно, привезла, чтоб расправиться с отцом.

И я опять побежал.

Страх загнал меня в порт. До этого я в порту был только раз – с отцом и мамой. Тогда у берега стояло много пароходов, привязанных канатами к чугунным тумбам. Из-за этих пароходов я даже не рассмотрел как следует моря. Один пароход был турецкий. Это я сразу понял, потому что на нем ходили люди в красных фесках. Мальчишки с берега кричали им: «Наши ваших пу-у-у!..» Турки смеялись. Обиделся только один. Он повернулся к мальчишкам задом, нагнулся и крикнул: «Пу-у!»

Но в этот раз у берега стояло всего два парохода – большой, выкрашенный, и маленький, обшарпанный. На обшарпанном висел флаг с полумесяцем и звездой. С парохода по деревянному мостику сходили турки и сбрасывали со спины

большие кули. Один куль лопнул, и из него выпали на землю связки сушеного инжира. Толстый турок, который ничего не делал, а только смотрел, как работают другие, сбежал по мостику на берег и стал кричать на старого турка, который уронил куль. Старый турок моргал глазами, будто боялся, что толстый ударит его по лицу, и говорил: «Афэдерсинис, афэдерсинис!»⁵ А толстый кричал: «Алчак! Алчак!»⁶ – и брызгал слюной.

Около меня остановился мальчишка с подбитым глазом. Он подмигнул мне и сказал:

– Вот здорово ругаются!

– А ты разве понимаешь? – спросил я.

– А то нет! – ответил мальчишка. – Я и сам по-всякому умею. Вот, слышь, толстый кричит: «Я тебя, шайтан, в ба-раний рог согну! Я из тебя рахат-лукум сделаю!» А старый, слышь, отвечает: «Мы и сами с усами, разлюли-малина! Я тебе, шагай-болтай, пузо вспорю и кишки в море выкину!»

По-турецки я не понимал, но, конечно, догадался, что мальчишка врет. Ведь старый говорил только одно слово – «афэдерсинис». Неожиданно мальчишка прыгнул, схватил две связки инжира и побежал. Старый крикнул: «Вай!» – и побежал за мальчишкой, а толстый с кулаками бросился на меня. Я тоже побежал. Мальчишка на бегу уронил связку. Я ее подобрал и отдал старому. Старый погладил меня по

⁵ Прости! (*турецк.*)

⁶ Мерзавец! (*турецк.*)

голове и дал одну инжиринку. Я опять пошел к пароходу. Толстый турок уже не трогал меня. Старый дал мне еще и рожок. Я съел сначала рожок, а потом инжиринку. И рожок и инжиринка были сладкие, душистые – такие вкусные, что я на время забыл о своем горе. Я пошел к большому пароходу. На нем был флаг полосатый, а люди обыкновенные, без фесок. Но разговаривали они тоже не по-русски. Походив по берегу, я опять вернулся к туркам. Турки уже ничего с парохода не выносили, а брали на берегу заржавленные куски чугуна и таскали на пароход. Наверно, каждый кусок весил пуда три, потому что больше одного куска турки не поднимали, и все-таки лица у них блестели от пота.

Вдруг с парохода сошел человек, похожий на нашего Петра, как брат родной. На нем были заплатаанные штаны и опорки. Он легко взял под мышки два куса чугуна и пошел на пароход. И тут я вспомнил, что первый раз Петр пришел к нам в чайную вот в таких же заплатаанных штанах. Неужели это он? Когда человек опять показался на деревянном мостике, я вскрикнул и побежал к нему. Конечно, это был Петр!

– Митя?! – удивился он. – Ты что тут делаешь? Бычков ловишь?

Я признался, что убежал из дому. Лицо Петра посуровело. – Да ты спятил? – сердито сказал он. – Так с тех пор и не возвращался? Ну, брат, это не дело. Сейчас же иди домой! Тогда я стал просить Петра, чтобы он взял меня с собой. Он развел руками.

– Куда же я тебя возьму? Я, брат, уезжаю. Вот погрузим эти чушки – и отчалим. В Турцию поплыву, к магометанам. Хуже не будет.

– Ну и я в Турцию! Хуже не будет!

Петр усмехнулся.

– Хватил! Пойми, глупенький, что я сбился с пути, пошел в бродяги, в алкоголики.

– Ну и я пойду в бродяги, в алкоголики! – соглашался я на все, лишь бы не расставаться с Петром.

Толстый турок что-то крикнул.

– Ладно, – сказал ему Петр. – Успеем. За мной не пропадет.

Он опять взял две чушки и понес.

И сколько я потом ни просил, он говорил только одно:

– Иди домой! Домой иди, Митя!

На турецком пароходе

Улучив момент, я незаметно пробрался по деревянному мостику на пароход и спрятался под серым брезентом, который валялся на полу. Но там совсем нечем было дышать. И, кроме того, близко топали ногами – того и гляди, наступят прямо на голову. Я выполз из-под брезента и потянул за ручку какую-то дверку. Дверка открылась, и я увидел чулан. В нем стоял заржавленный якорь, валялись топоры, ведра, всякий хлам. Я шмыгнул в чулан, залез в какой-то ящик, скорчился в нем и закрылся сверху дырявым мешком.

Я лежал так долго, что у меня занемели ноги. Вдруг подо мной часто-часто застучало. Ящик стал дрожать. Что-то тяжело загудело, как гудит на заводе, только совсем от меня близко. Вслед за тем снаружи затарахтело и заскрежетало. Голос, похожий на голос толстого турка, кричал и кричал, а ему отвечали другие голоса: «Башистюне, капитан!»⁷

Наконец все стихло, кроме частого стука внизу. Я вылез из ящика и заглянул в щелочку. На полу, поджав ноги, кружком сидели турки и ели брынзу. И Петр сидел с ними и тоже ел брынзу. На Петре была старая, помятая феска с кисточкой. Значит, верно, что Петр переделался в турка.

До сих пор я голода не чувствовал, а тут, как увидел сыр, то так захотел есть, что хоть выходи из чулана и садись с

⁷ Есть, капитан! (*турецк.*)

турками в кружок. Я с трудом оторвался от щелочки и опять залез в ящик.

Но долго там оставаться не мог – так есть хотелось. Заглянув вновь в щелочку, я сыра уже не увидел. Вместо сыра посредине кружка стоял стеклянный кувшин с водой и дымом внутри. От кувшина тянулись в разные стороны желтые резиновые трубочки. Турки брали эти трубочки в рот, а изо рта выпускали дым. Я догадался, что это они так курят. И Петр курил с ними.

Но мне хотелось не курить, а есть. Как дать Петру знак, что я здесь? Я чуточку приоткрыл дверь. Тут кто-то затопал, и я опять юркнул в свой ящик. Только прикрылся мешком, как в чулан вошли люди. Один говорил:

– Ничего не поделаешь, капитан, я обязан посмотреть везде. Долг службы.

А другой отвечал:

– Пожалуйста, пожалуйста.

Люди топтались и что-то передвигали.

Как назло, в носу у меня защекотало, и я чихнул. И сейчас же мешок будто ветром снесло. Я увидел толстого турка и человека в фуражке с гербом и в зеленой тужурке с серебряными пуговицами.

– Это что такое? – уставился на меня человек с гербом.

А турок сказал:

– Вай! Кто биль есть?

Когда меня вытащили из чулана, Петр бросил резинку и

вскочил на ноги.

– Митя... – прошептал он. – Ты как сюда попал?

Тогда толстый турок и человек с гербом стали на Петра кричать, а Петр крестился и говорил:

– Пусть ваш бог аллах и наш бог Иисус вдвоем с меня голову снимут, если я знал! Господин надсмотрщик, это же не мой хлопчик, это хлопчик заведующего чайной-читальней. Он от родителей сбежал, а я при чем?

Но человек с гербом и толстый турок продолжали кричать и даже ногами топать. Петр рассердился и тоже закричал:

– Вы, господин надсмотрщик, должны следить, чтоб не провозили контрабанду, а какая вам мальчик контрабанда?! Я вижу, у начальников мозги помутились! Эй, капитан! – подступил он к толстому турку. – Высаживай меня на берег! Не хочу больше у тебя работать! Высаживай сейчас же, а не то я переверну тут все вверх ногами!

Я посмотрел по сторонам, но берега нигде не увидел. Кругом была вода, вода и вода. Только с одной стороны тянулась вдалеке темная полоска. Как же нас высадят на эту полоску?

Надсмотрщик поговорил с толстым турком и сказал Петру уже спокойно:

– Договаривайтесь сами – не моя забота. До Керчи дойдем, а там я сойду.

Надсмотрщик с капитаном пошли дальше, а Петр куда-то сбегал и принес мне брынзы и кукурузную лепешку. Я сел в один кружок с турками, поджал, как и они, под себя ноги и

все съел. Петр принес мне глиняную чашечку и сказал:
– Раз ты уже турок, то пей кофий.



Кофе был горький-горький, но я, чтоб никого не обидеть, выпил всю чашку до дна.

Только после этого я огляделся как следует. Море было такое большое, что больше его, наверно, ничего не было на свете. И везде, куда ни помотришь, шипела пена, будто там все время стирали белье с мылом. Пароход наш то опускался вниз, то поднимался вверх. А за нами летели и летели большие белые птицы и что-то нам кричали вслед.

– Петр, зачем они кричат? – спросил я.

– А есть просят. Это чайки, они всегда за пароходами гоняются. На вот чурек, покорми их.

Я разломил лепешку на маленькие кусочки и бросил в воду. Чайки обрадовались, спустились к воде и повыхватывали кусочки из самой пены. Потом они опять погнались за пароходом, но у меня больше ничего не было.

По узенькой крутой лесенке мы с Петром спустились вниз и там все осмотрели.

– Вот это кубрик, – сказал Петр, когда мы вошли в комнату с круглым окном над самой водой и койками одна над другой.

На койках лежали смуглые мужчины. Я почему-то думал, что турки и спят сидя, но они спали, как все люди.

Затем мы заглянули в помещение, где топилась огромная печка и крутился железный, будто изломанный, вал. Кто-то, весь черный и огненный, бросал в печку лопатой уголь. От раскаленного угля все помещение было красное, а жаром несло так, что я чуть не задохнулся.

Когда мы выскочили оттуда, я сказал:

– Он на черта похож, правда?

– Нет, – ответил Петр, – на черта похож хозяин парохода, вот тот толстый турок, а это обыкновенный человек, только он еще при жизни в ад попал.

Мы обошли весь пароход, и Петр мне объяснил, где корма, а где нос, что такое камбуз и что такое штурвал, зачем на

пароходе мачта и зачем якорь. Место, где ходил толстый турок, называлось мостиком, а настоящий мостик, по которому поднимаются на пароход, называется сходнями или еще трапом. И чулан мой был не чулан, а шкиперская. Вал же с огромными железными руками, которые его крутили, – это машина.

Когда стемнело, Петр уложил меня на палубе, около шкиперской, на брезентовую подстилку, закутал в свой старый пиджак и лег рядом.

И, как на постоялом дворе, когда мы переехали из деревни в город, я увидел, что надо мной висят все те же звезды. Только будто они подросли и стали еще голубей. Значит, от звезд никуда не уйдешь...

Внизу беспрерывно стучала машина. Это там черный турок, попавший за какие-то грехи в ад еще при жизни, бросал и бросал уголь в огненную печку. Мне стало жалко турка.

От турка мои мысли перенеслись к маме. Сердце мое заныло. Петр, будто подслушав, о чем я думаю, сказал:

– А ты спи. Намайлся за день-то. Спи. Лишь бы хозяин меня в Мариуполе не задержал, а из Мариуполя я тебя домой в два счета доставлю.

...Проснулся я от ужасного грохота, будто с неба на пароход кто-то сыпал булыжники. Высыплет целый мешок, подождет, когда грохот утихнет, и опять сыплет.

– Что это, Петр?! – крикнул я в страхе.

Но Петра рядом не было. Я бросился в шкиперскую и за-

лез в свой ящик. Там я немного успокоился и когда вернулся на палубу, то увидел, что пароход не двигается, а стоит у берега, привязанный к чугунным тумбам. На берегу светят закопченные керосиновые фонари. По трапу туда и сюда ходят турки с грязными ящиками на спине. Пройдет турок на пароход, прогрохочет чем-то и опять идет с ящиком на берег.

– Ты здесь? – сказал Петр, появившись откуда-то из темноты. – Ну и дьявол же этот хозяин! Хоть убей его, не отдает паспорта. А без паспорта куда сунешься! Говорит, в Керчи отпустит и денег даст. Придется грузить, ничего не поделаешь. Ну, иди спи.

Я вернулся на свое место и скоро уснул.

Утром, когда я увидел Петра, то сразу даже не узнал его: он был весь черный.

– Ничего, это все отмоется, – сказал он и невесело усмехнулся. – Если б все можно было смывать, как угольную пыль...

Пароход шел и шел, и теперь уже не было видно даже клочка земли, везде только вода. Мне опять стало страшно: что, если машина поломается? Тогда мы ни до какой земли не доплывем. Только бы показалась земля, только бы перебраться с парохода на землю, а там мы с Петром и пешком домой дойдем. Хоть год будем идти, а дойдем.

И земля показалась. Сначала это была узенькая полоска. Потом она стала шириться и расти вверх. Против этой полоски показалась другая. А машина внизу все стучала и сту-

чала, пароход все шел и шел. Теперь с одной стороны земля была низкая и плоская, а с другой обрывистая. Море стало похоже не на море, а на реку, только очень широкую. Но Петр объяснил, что это не река, а Керченский пролив.

– По левую сторону, – сказал он, – Кавказ, а по правую – Крым. Позади нас – море Азовское, а впереди – море Черное. Вот, брат, куда мы с тобой заехали. Но ты не бойся: скоро покажется город Керчь. Мы там выйдем и начнем думать, как нам дальше жить на свете.

В Керчи жить на свете стало еще труднее: Петр таскал с берега на пароход такие тяжелые трубы из железа, что по лицу его все время катился горошинами пот, а мне до боли в животе хотелось есть.

Я первый раз видел гору. На этой горе были и улицы, и бульвары. С парохода даже видно было, как по улице лошадь везет бочку, а по бульвару гуляют барышни в белых платьях и соломенных шляпах.

Я смотрел и смотрел на город, а сам все время думал: отдаст толстый турок Петру паспорт или не отдаст. От Петра я уже знал, что пароходы выгружают и нагружают люди, которые живут на берегу и называются грузчиками. А толстый турок, чтоб не платить им за работу, заставляет грузить и разгружать пароход своих же матросов. Петра он держит потому, что Петр у него работает сразу за двух матросов и двух грузчиков.

Наконец все трубы погрузили. Я видел, как Петр пошел

к толстому на мостик. Петр говорил по-своему, а толстый по-своему. И каждый размахивал руками. Они кричали все громче и громче и все сильнее махали руками, а в это время турки втягивали трап на пароход. Петр плюнул и пошел с мостика. Я не понимал, почему он не делает, как обещал раньше, и сказал:

– Петр, переверни тут все вверх ногами.

Он ответил:

– Я бы перевернул вверх ногами даже самого капитана, да мне не интересно навлекать на себя полицию.

Мы поплыли дальше. Скоро вода стала темная, как чернила. Но это если смотреть прямо вниз, а если смотреть вдаль, то море было голубое. И на этом голубом море будто кто-то зажигал тысячу тысяч свечек. Когда одни свечи гасли, то другие в это время зажигались. А когда туча закрывала солнце, то свечечки гасли все до одной.

Раньше за нами гнались только птицы, а теперь погнались и рыбы. Они были длинные, круглые и почти совсем черные. Чайки – те просили есть, а рыбы просто баловались. Они обгоняли пароход, ныряли и кувыркались.

По одну сторону парохода без конца и края было море, а по другую все время крутился и уходил назад берег. Когда стемнело, над нами опять зажглись вчерашние звезды, только они стали еще крупней и голубей.

За всю ночь я ни разу не проснулся, поэтому не знаю, что было ночью. А утром турки-матросы чуть не побили своего

толстого капитана. Вот как это вышло.

Капитан приказал мыть палубу. Петр и молоденький турок-матрос, по имени Юсуф, опускали на веревке через борт ведра, вытаскивали воду и лили на палубу, а другие матросы тут же терли палубу метлами-голяками. Раз Юсуф опустил ведро в воду, а вода так потянула ведро, что вырвала из рук веревку. Толстый затопал на Юсуфа ногами и ударил его по лицу кулаком. Он кричал и показывал, что конец веревки надо наматывать на руку. Когда толстый поднялся на свой мостик, Петр сказал Юсуфу, чтоб он веревку на руку не наматывал. «И пикнуть не успеешь, как за борт вылетишь», – говорил Петр и показывал, как Юсуф полетит в воду. Толстый заворочал на мостике глазищами. Молоденький турок жалобно посмотрел на Петра и намотал веревку на руку – так он боялся своего хозяина. Намотал и опять принялся таскать воду. Когда ведро падало за борт, он изо всех сил упирался ногами в пол и лицо его делалось страшным. Вдруг он весь дернулся – и пропал из глаз.

– Вай!.. Дюштю!..⁸ – закричали матросы и принялись бросать в воду что попало под руку – доски, бочонок, скамейку. Петр сорвал с борта спасательный круг, но из круга посыпалась труха, и Петр отшвырнул его.

– Сандалы индирын!⁹ – крикнул толстый с мостика.

Турки засуетились около лодки, которая висела тут же, на

⁸ Ой!.. Упал!.. (турецк.)

⁹ Спустить шлюпку! (турецк.)

канатах, но она не спускалась, а только дергалась и дергалась в воздухе.

Я со страхом глянул за борт: черная голова Юсуфа то показывалась из воды, то опять исчезала. Бедный Юсуф! Сейчас он захлебнется!

– А-а, дьявол толстый!.. – крикнул Петр. – Ничего у него не действует!..

Он сбросил с себя рваные штаны, вскочил на борт и кинулся в воду.

От страха, что Петр утонет, я закрыл глаза. А когда опять их открыл, то увидел, что Петр одной рукой держится за канат, а другой обхватывает Юсуфа за его смуглые плечи.

Петра и Юсуфа подняли на палубу. Юсуф лежал с раскрытым ртом, грудь его то поднималась, то опускалась, а Петр стоял над ним и рычал:

– У твоего хозяина одна забота – карман набить! У, гады двуногие, толстосумы окаянные! Все они на один лад!..

Турки столпились около капитанского мостика. Они таращили глаза, размахивали кулаками и что-то кричали на своем языке, а толстый плевался и, в свою очередь, кричал:

– Дагылын! Гидин, хайванлар!¹⁰

Кричал, кричал, а потом согнулся и шмыгнул в дверь.

Вместо толстого турка на мостик вышел турок худой и горбоносый, тот, который командовал матросами, когда они грузили пароход. Он все прикладывал обе ладони к груди и

¹⁰ Разойдитесь! Уходите, скоты! (*турецк.*)

что-то говорил. Матросы успокоились и разошлись. А толстый так больше и не показывался.

Когда Юсуф окончательно пришел в себя, он повернулся к солнцу и стал молиться:

– Аллаха шюкюр!.. Куртуедум!¹¹

От этой суматохи я тоже не сразу пришел в себя. А когда осмотрелся, то увидел, что мы плывем мимо диковинной горы. Казалось, будто это лежит медведь-великан и пьет из моря воду. Мы плыли и плыли и никак не могли миновать медведя – такой он был огромный.

Но все-таки и медведь оказался позади, а перед нами берег так изогнулся, что получился круг, весь залитый голубой водой. На берегу росли веселые деревья и стояли в ряд большие белые дома, а над ними, все выше и выше, белели среди зеленых садов другие дома, такие же большие и красивые.

Наш пароход заревел и пошел прямо к берегу.

И тут опять показался толстый турок. В руке он держал желтый лист.

– На! – крикнул он Петру. – Пусть ты ходит вон!

Петр взял лист и сказал:

– А деньги?

Турок так и затрясся весь:

– Какой денга?! Ты мой пароход бунт делал! Я полицаю свистал буду. Ты на тюрьма ходит будет!..

– Постой, – остановил его Петр, – тюрьма тюрьмой, но я ж

¹¹ Слава Аллаху за спасение! (турецк.)

на тебя трое суток, как вол, работал. Дай же хоть пять рублей!

Толстый так закричал, что изо рта его забрызгала слюна.

– Чтоб ты лопнул, шайтан брюхатый! – сказал Петр.

Он взял меня за руку, и мы пошли к трапу.

– Петро, Петро! – позвал его Юсуф. – На! Бери, йолдаш!¹²

– В одной руке он держал маленькую феску, а в другой серебряную монету. – Бери, йолдаш, бери!

Нас окружили турки, и каждый совал монету.

– Сен ийи адамсын!¹³ Бери, йолдаш, бери!..

Петр сначала отмахивался и говорил:

– Что вы, братцы! Не надо!

Но потом сказал:

– Ладно, возьму. Не для себя, а для этого мальчика. Спасибо, братцы! Может, еще когда встретимся, так выпьем по чарке. Оно, конечно, вам аллах не велит, а мы так, чтоб он не увидел.

Юсуф надел мне на голову красную фесочку, и мы с Петром сошли наконец на берег.

¹² Товарищ (*турецк.*).

¹³ Ты хороший человек! (*турецк.*)

Край света

Как только мы оказались на берегу, я сразу понял, что заехал на край света. В самом деле, где, если не на краю света, может быть такая улица! На одной ее стороне стояли красивые дома с богатыми магазинами, а на другой ничего не было, и волны с белой пеной поднимались чуть не до самой мостовой. И деревья росли на улице не такие, как у нас: одни курчавые, в огромных, бело-розовых цветах, а другие темные, прямые, с острым концом наверху. А экипажи! Каждый экипаж обит внутри бархатом. Везут его две, а то и три добрые лошади.

По улице шли и шли разные господа и барыни. Господа были в белых пиджаках и белых соломенных шляпах, а барыни в платьях всех на свете цветов, в шляпах с перьями и под зонтиками. Зонтики тут везде: даже над сиденьями пролеток, даже над головами лошадей.

– Давай, брат, отсюда выбираться, – сказал Петр, – а то как бы нам не запачкать об эту публику свои белоснежные костюмы.

Мы свернули в переулок и по переулку пошли все вверх и вверх. Люди, которые нам встречались, оглядывались на меня и говорили: «Ишь, турчонок идет!» Я раз даже сказал: – Какой я турчонок, я русский!
Но Петр дернул меня за рукав и шепнул:

– Молчи. Пусть думают, что мы и вправду турки.



Если нам попался на пути городской, Петр нарочно говорил мне что-нибудь по-турецки. Тогда и я ему отвечал словами, которые слышал от турок на пароходе. Один городской остановил нас и спросил Петра:

– Кто такой? Почему грязный?

Петр ответил:

– Хамал, тайфа¹⁴.

– Зачем здесь? – не отставал городской.

Петр пожал плечами: дескать, не понимаю.

Тогда я сказал городовому:

– Дюштю чурек. Сандалы индирин¹⁵.

И городской пошел своей дорогой, а мы своей. Так мы дошли до дома, над дверью которого покосилась старая, полинялая вывеска. На ней были изображены баран с закрученными рогами и винная бочка.

– Зайдем, – сказал Петр.

В комнате была буфетная стойка и три стола. За буфетом сидел человек, до пояса голый, с волосатой грудью и длинным носом, а за одним из столов ел мясо бритый старик, чем-то похожий на того паршивца, который выследил Кувалдина.

Петр бросил на стойку турецкую монету и сказал волосатому:

– Давай-едай шашлык-башлык!

Волосатый попробовал монету на зуб, подумал и нани-

¹⁴ Грузчик, матрос (турецк.).

¹⁵ Упал чурек. Спустить шляпку (турецк.).

зал на длинную железную шпильку кусочки сырого мяса, а шпильку вставил в жестяную печку с горящим углем.

Мы с Петром сели за стол, весь черный от мух, и стали тихонько говорить, как быть дальше. Петр сказал, что надо заработать рублей пять или семь, чтоб купить мне билет до дома, а я ему ответил, что если он со мной не поедет, то лучше пусть и билета мне не покупает. Пока мы разговаривали, старик все прикладывал ладонь к уху.

Волосатый принес шпильку с жареным мясом, засмеялся и сказал:

– Бери шашлык-башлык, давай-едай.

Мясо было такое вкусное, что я больше уже ничего не говорил, а только ел.

Старик все наставлял и наставлял ладонь к уху, потом не вытерпел и спросил со своего стола:

– Не пойму я, почтенный, кто ты есть по своей нации. Головной убор на тебе определенно турецкий, а физиономия истинно русская. Ну-ка, ответь.

Петр ел и смотрел в сторону.

– Или тебе не интересно со мной в разговор вступать?

Петр молчал.

– А может, ты немой?

– Немой, – кивнул Петр.

– Ишь ты! – Старик злорадно хихикнул. – Совсем немой?

– Совсем.

– Здорово! А может, ты и слепой?

– Слепой, – ответил Петр.

– Так-таки ничего и не видишь?

– Почему ж ничего? Одну нахальную рожу вижу явственно.

– Так-так, – закивал старик. – А в участок хочешь?

– До участка ты меня не доведешь, – сказал Петр.

– Это ж почему?

– Потому что по дороге я из тебя свиную отбивную сделаю.

– Так-так, – опять закивал старик. – Так-так...

Семеня короткими ногами, он вышел на улицу.

– Ходи сюда, – показал волосатый на дверь за буфетной стойкой. – Ходи скоро.

– Он что, ко всем так привязывается? – спросил Петр, сгребая прямо в карман остатки шашлыка.

– Царь скоро ехать будет. Вся Ялта полный полицейская собака.

Мы с Петром вышли во дворик, перелезли через забор, через другой и оказались на улице, где дома уже были поплотнее, а деревья такие же большие и в цветах. Потом я не раз замечал: стоит домик совсем плохонький, а около него растет дерево до самого неба, курчавое, красивое.

Мы стали заходить во дворы и спрашивать, нет ли работы. В одном дворе мы сложили из камня забор, в другом напилили целую кучу дров. Конечно, все тяжелое делал Петр, а я только ему помогал. За день мы заработали рубль и двадцать

копеек.

Солнце светило, светило – и вдруг пропало: это оно зашло за высокую с зубцами гору.

– Вот и вечер, – сказал Петр. – Теперь надо о ночлеге подумать. Не знаю, как на твой вкус, а по-моему, лучше всего нам лечь на пуховую постель и укрыться черным бархатным одеялом.

Я сказал, что и у меня такой же вкус, и мы по широкой каменистой дороге пошли опять вверх.

Тут дома уже попадались редко, а по обе стороны рос густой лес. Петр свернул с дороги и зашагал между деревьями. Чтоб в темноте не потеряться, я вцепился в его пиджак. Ноги мои все время скользили и скользили, но что было под ними, я не знал. Мы остановились около какого-то черного и в темноте страшного куста.

– Вот тут мы и переночуем, – шепнул Петр. – Хвоя – наша пуховая постель, а черное небо – бархатное одеяло. Запах-то какой! Чувствуешь? Как раз в эту пору сосна цветет.

Пахло, правда, хорошо, но в лесу я был впервые и с опаской спросил:

– А волки нас не съедят?

– Самые прожорливые волки – там. – Петр показал в сторону, откуда мы пришли.

Как и на пароходе, он опять завернул меня в свой пиджак, и мы легли рядышком под кустом. В лесу было тихо-тихо, только когда налетал ветерок, к нам доносился шум, и я не

знал, шумели это верхушки деревьев над нами или море внизу. Да еще слышно было, как звонко и дробно стучат копыта о каменистую дорогу: там все ехали и ехали экипажи. А с густо-синего неба по-прежнему светили звезды. Я прищуривал глаза, тогда от самой большой звезды ко мне тянулись сквозь ветки тоненькие голубые ниточки. От всего пережитого за день мне захотелось спать, и я уже задремывал, когда увидел новую звездочку: она светилась не вверху, а внизу.

– Петр, что это? – спросил я. – Почему тут звезды на земле?

– Спи, спи, – сказал Петр.

Он, наверно, подумал, что я уже вижу сон. Но потом тоже заметил голубенький огонек и засмеялся.

– А, ты вот про что! Это светлячок. Их много здесь, таких червячков. Звезды мерцают, а светлячки светятся спокойно.

Я положил голову Петру на плечо и опять посмотрел на большую звезду в небе. Теперь, наверно, и наши все спят не в комнате, а во дворе, где отец сколотил деревянный помост на кольях. Может, мама вот так же смотрит на эту звезду, и так же тянутся к маминым глазам голубые лучики, а в глазах мамы полно слез.

– Петр, мы скоро заработаем рублей пять или семь? – спросил я.

– Как повезет, – ответил он. – В Ялте много нашего брата. Сюда на заработки даже из самой Персии нужда гонит людей. Ничего, как-нибудь заработаем. Лишь бы нам пореже с

полицией встречаться, а в случае чего – и в рыбаки с тобой пойдем.

Я и раньше замечал, что Петр не любит встречаться с полицией, и теперь спросил:

– Петр, а отчего ты боишься полиции? Ведь мы с тобой не разбойники.

Но он на это ничего не ответил, а стал рассказывать, как целый месяц ловил с рыбаками на крючки стерлядь. Голос его делался все глуше, а потом и совсем пропал.

Проснулся я оттого, что вокруг меня все звенело. Я сначала щурился от света, а потом рассмотрел, что земля, на которой я лежал, усыпана тонкими зеленоватыми иголками и круглыми с трещинами шишками. К небу поднимались прямые, будто медные, стволы со странными игольчатыми листьями на мохнатых ветках. Птички, серенькие, красно-зеленые, желтые в черных крапинках, одни с длинными клювами, другие со смешными шляпками на макушке, перелетали с ветки на ветку, суетились, дрались, пищали, свистели, щелкали. А в кустах и траве что-то звонко стрекотало, будто хотело еще больше раззадорить всех этих птах.

Петр сидел на земле с полуоткрытыми глазами. Спиной он упирался в дерево, а руки держал скрещенными на груди. Заметив, что я проснулся, он кивнул мне и опять опустил глаза. Посидел так, вздохнул и, будто про себя, сказал:

– Хорошо на воле. Лучше воли ничего на свете нет.

Эти слова про волю я от него слышал уже много раз.

– Петр, а разве ты был в неволе? – спросил я.

– От тюрьмы да от сумы никогда не зарекайся.

Вот всегда так: его о чем-нибудь спросишь, а он ответит и на это и в то же время будто еще на что-то.

Мы съели калач, которым запаслись вчера в городе, и выбрались из леса опять на белую каменистую дорогу. Но в город мы не вернулись, а с широкой дороги свернули на узкую и пошли по ней мимо каменных заборов и чугунных с прорезями ворот. Сквозь прорези были видны богатые дома, горки с цветами, дорожки, усыпанные мелкими круглыми камешками. А сквозь одни ворота мы даже увидели огромную лягушку, изо рта которой высоко вверх лилась вода.

– Зайдем! – сказал Петр. Он просунул руку в прорезь ворот и открыл засов.

На нас сейчас же бросилась с хриплым лаем кудлатая собака, такая злая, что на ней даже шерсть дыбом встала. Но Петр на собаку не обратил никакого внимания и пошел прямо к дому. Наверно, это ей показалось удивительным: она перестала лаять и оторопело посмотрела нам вслед. Из каменного сарая вышел горбатый мужик с ключами на поясе и закричал на нас:

– Вы зачем ворота открыли? Кто вам позволил? Шляются тут с раннего утра!

– Мы открыли, мы и закроем, – миролюбиво сказал Петр. – Спроси у своих господ, нет ли какой работенки. Мы ничем не побрезгаем.

Но ключник продолжал кричать на нас и гнать со двора. Петр не обиделся.

– Нет так нет. Сейчас водицы напьемся и пойдем.

Мы подошли к лягушке и стали ртом ловить воду прямо на лету. Вода была вкусная и такая холодная, что занемели зубы. Ключник носился около нас, размахивал руками и то хрипло, то визгливо кричал:

– Шаромыжники! Босовня! Гляди-ко, чужую воду пьют, как свою собственную! Еще вздумают портки под фонтаном стирать! Вот кликну сейчас полицейского – насидитесь в участке!

Петр умылся и вытер подолом рубашки лицо.

– Славная водица, – похвалил он, очень довольный. Потом сказал ключнику с доброй улыбкой: – Ну чего ты желчью исходишь? Глянь-ко, пес и тот понял, что мы не жулики, а ты у своих господ злее пса кудлатого.

От этих слов ключник еще больше озлился и начал плевать. Тогда Петр взял его двумя руками за туловище, приподнял и посадил под лягушку, прямо в воду.

– Охладись, – сказал он.

И ключник сразу утих, злобу с его серого лица как рукой сняло, он даже улыбнулся, отчего во рту показались огрызки желтых зубов.

– Милый, я ж человек подневольный: как хозяин велит, так я и делаю.

– А кто твой хозяин? Небось жадюга?

– Известно кто: господин Малоховский. Да он еще не приехавши, он в Питере еще. Ну, дозволю тебе вылезти, вода-то больно холодная.

Брови у Петра сдвинулись.

– Как, как ты сказал? Малоховский? Уж не меховщик ли?

– Известное дело, меховщик. Только какой меховщик!

Мильонщик!

– А ты... давно у него в услужении? – хрипло спросил Петр.

– Здесь? Почитай, седьмой год. Вылезти мне можно?

Петр молча повернулся и пошел со двора.

Он шел и шел по дороге, а брови у него не раздвигались, и о чем бы я его ни спрашивал, он не отвечал.

– Тут ничего не зарабатываешь, – сказал он наконец. – Надо идти в город.

Но и в городе работа не находилась. Мы раздобыли только сорок копеек: за тридцать Петр перенес два больших сундука с лодки на подводку, а гривенник мне дала барыня за розы, которые я нарвал, когда мы ходили мимо богатых дач, – розы там свисали наружу прямо с каменных заборов.

Хотя мы работали мало, но Петр почему-то ослабел и не захотел идти в лес ночевать.

– Переночуем здесь где-нибудь, – сказал он.

В самом конце города мы набрали в темноте на какие-то камни. Между камнями росла трава. Петр усмехнулся и сказал:

– Для бездомных вполне подходящее место.

Мы улеглись между камнями. Оттого, что Петр стал такой невеселый, я затосковал еще больше. Ночью он что-то бормотал, и я часто просыпался. Раз он даже зубами заскрежетал. Все-таки к утру я заснул крепко. Утром я увидел, что кругом нас камни не обыкновенные, а с вырезанными на них надписями, только буквы были мудреные, и ни я, ни Петр ничего прочесть не могли.

– А ведь мы с тобой на татарском кладбище ночевали, – сказал Петр. – Вот куда нас занесло.

Перед нами поднималась высокая серая стена.

– А там что? – спросил я.

– Не знаю. Наверно, чей-то двор. Ну-ка, загляни: может, работенка наклюнется.

Он высоко поднял меня на руках, так что я стал ему на плечи. Я увидел белый дом, сад, яму с водой, садовую скамейку. На скамейке сидел человек с темной бородкой и усами. Бледным пальцем он тер себе висок и прикрывал глаза так, будто ему больно смотреть. Большая птица на длинных голых ногах осторожно подошла к нему, вытянула шею и вдруг смешно затанцевала.

– Ладно, ладно, – сказал человек глухим голосом. – Знаем ваши повадки. Пойди лучше к Маше, она тебе кое-что припасла.

Птица опять вытянула шею и положила человеку на колени голову. Человек тихонько засмеялся и тут же закашлялся.

– Ах, журка, журка! – сказал он, откашлявшись, и погладил птицу по ее крылу, похожему цветом на грифельную доску. – Подхалимус! Ну, иди, иди к Маше.

Птица на шаг отступила, посмотрела на человека сбоку, одним глазом, будто проверила, правду ли он говорит, и побежала за угол дома. Человек опять приложил палец к виску.

Когда я рассказал это Петру, он пожал плечом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.